

*Артеми́й Леонтьев*

## Москва, Адонай!

*Роман*

### Действие второе

#### *Явление I*

Арина часто вспоминала ту ночь, когда это случилось в первый раз. После четырех месяцев работы соблазнительные суммы стали привычны, а один очень влиятельный и чтимый в кабаре гость — Евгений Эдуардович, крупный ресторатор, владелец сети московских заведений — выкупил у управляющей смену Арины, потому что хотел пообщаться с ней без помех, дав вдвое больше, чем обычно кабаре получает за «увольнение на ночь». Евгений Эдуардович задернул плотные шторы своей vip-комнаты и усадил Арину рядом с собой.

Девушка сжимала кулаки и долго отказывалась от шампанского, со стороны казалось, что она собирается драться. Чуть ли не сходу выпалила, что не продается — просто временно работает здесь официанткой, дабы немного подзаработать, потом скрестила руки на груди и сжалась в углу, как загнанный зверек. К удивлению Арины, ресторатор ни на чем не настаивал, не позволял себе даже намеков. Только дружелюбно улыбался и разводил руки, мол, все знаю, вижу, ни на что не претендую.

«Выпьем?»

Убедилась, что бизнесмен даже не пытается к ней прикоснуться, а только расспрашивает о жизни и планах на будущее — в конце концов несколько расслабилась, взяла в руку изящное флюте с шампанским. Обаятельный натиск, хмельная искорка, язык развязался: Оренбург, студенчество, тяжелые годы неустроенности и безденежья после переезда, родители. На второй бутылке — детские воспоминания и одиночество. Захмелевший Евгений Эдуардович был обходительным, даже галантным, но самое главное — умел красиво говорить. Умудрился деликатнейшим образом предложить пятьсот тысяч так, что это не выглядело подачкой и попыткой купить Арину — больше походило на маленький подарок или очень большой букет цветов. Девушка отказалась, но не так твердо, как сама от себя ожидала. Не сразу обратила внимание на его руку на спине под майкой, потом почувствовала на груди крепкую ладонь — Евгений Эдуардович бережно ее гладил, смотрел страстно, пристально. Его желание заражало, обволакивало, звало.

Больше всего почему-то запомнились волосатый живот со шрамом от аппендицита, и красная шторка с золоченой бахромой, в которую потом уткнул ее лицом. После секса некоторое время лежала на полу рядом с диваном. Сжимала в руке липкий комок салфетки. Пустые бокалы-блики на круглом стеклянном столике, мятая пачка сигарет в пепельнице, мобильный телефон, зажигалка. Толстый кошелек придавил стол кирпичом.

В то же утро он перевел ей на карточку полмиллиона, о чем не преминул похвастаться Алсу и несколькими официанткам, чтобы еще больше вырасти в глазах любимого заведения. В его кругу подобные «покупки» считались хорошим тоном, иногда бизнесмены из его окружения даже щеголяли друг перед другом величиной подобных расходов, от скуки приобретали через агентство девственниц — средняя цена готовых на сделку моделей доходила до шестисот тысяч, а в начале нулевых среди толстосумов было популярно превращать приглянувшихся девушек в собственных содержанок, покупая им квартиры. На каком-то этапе даже мир проституток может приесться, отчего возникает необходимость привнести в него немного экзотики. Алсу покорила эта новость — когда она встретила в коридоре с Ариной, смотрела поверх ее головы. Самой Алсу не раз предлагали и больше, в середине нулевых один олигарх вызвался купить ей двухкомнатную квартиру в элитной высотке при условии, что время от времени будет навещать в гости, но она отказалась. Официантки и стрипки возненавидели Арину еще больше — раньше злились за то, что «выскачка-чистюля», теперь за то, что переплюнула их в цене. Опытные девочки, получавшие за приват-танец от пяти до пятнадцати тысяч, остро почувствовали себя дешевками.

В то же утро Арина уволилась из клуба — теперь уже не смогла бы, как прежде, зайти на кухню и добродушно поворчать на поваров, ожидая своего заказа. Не могла смотреть в глаза ребятам из кухни и посудомойщицам. Будучи прежде для них своеобразной опорой, она, как ей казалось, предала их — таких измотанных и бесцветных, попавших в это престижное заведение из разных уголков мира, чтобы оставить здесь свою молодую кровь в обмен на столичную зарплату. Похожее чувство испытывала по отношению к полюбившим ее постоянным гостям и к Алсу.

В то же утро армянка Бэлла выиграла у проспорившей подружки — тощенькой Софии — десять тысяч, так как «Святошка» действительно продана.

Пятьсот тысяч разлетелись за пару месяцев. Родителям в Оренбург она не отправила ни копейки — не из жадности, просто не решила послать матери «такие деньги». Арина съездила в Европу и несколько недель пожила в арендованном домике на Алтае. Гуляла по сосновому бору, прижималась к шершавой коре. Пальцы слиплись от смолы. Маленькие шишки кололи ноги через подошву кроссовок. Над головой стучал дятел.

Удивительно, но красота мест, которые так долго хотела повидать, совсем не радовала.

Вернулась в Москву. В несколько недель беззаботных тусовок прокутила последнее, завязала пару непродолжительных романов, флиртowała, смеялась громким и звонким смехом. Один из новых приятелей обещал помочь устроиться на хорошее место, но потом только удивленно пожал плечами: «Да мало ли что я говорил?» Кошелек опустел, и Калинина подалась в гостиницу — могла бы снова стать официанткой или танцовщицей, устроившись в кабаре, попытаться выдать себя за «чистую», но о ее теперь далеко не безупречной репутации знали слишком многие, а ночной мир полулегальной Москвы, как известно, чересчур уж тесен для того, чтобы утаить там какие бы то ни было тайны. Ее толкала сильнейшая злоба, девушке хотелось наказать себя за прошлую слабость, за этот громкий и звонкий смех, от которого в глубине души сама иногда содрогалась.

Опомнилась только через месяц — сутенер требовал выходить пять раз на неделе. Каждую ночь приходилось подниматься по меньшей мере в четыре номера. Когда заикнулась об уходе, долго таскал по комнате за волосы, чтобы не оставлять синяков, потом раздел, привязал обеими руками к батарее, изнасиловал и, раздвинув ноги, затолкал во влагалище рукоять ножа — в следующий раз пообещал вставить лезвие. Дал понять, что пока она не отработает хотя бы полгода, пусть не качает права.

Связанная веревкой, сидела на полу у батареи, по лицу стекала сперма. Решила, что покончит с собой, когда ее освободят, — так пролежала на полу два дня: сутенер приносил только воду, но на третий день сварил ейпельменей, развязал и дал есть. После еды заставил девушку выпить бутылку водки, а потом отправил в душ и уложил в постель. Калинина проснулась через восемнадцать часов — обезвоженная и покладистая. Постепенно восстановилась. Прислушалась к себе и отчетливо поняла: теперь ни за что не сможет решиться на самоубийство — не хватит сил, а главное, необходимого для этого остервенения, которое переполняло ее поначалу. В Арине как будто что-то выдрессировалось и свыклось.

Запах густого и плотного, как мясной бульон, пота, привычная анатомичность телодвижений, скованных теснотой, точно в бане — распаренные судороги сплетенных в узловатый канат тел, горячие и запашистые подмышки, частое дыхание. Крупные поры на коже. Волосатая рука лежала на голове Арины, сдержанная ухмылка раздвигала дряблые щеки, а щетинистые ноздри широко раздувались, хватая воздух. Ощущение механического, размазанного привычкой возбуждения мешалось с прогорклым чувством: наконец Арина ощутила языком, как прохладная и липкая резина стала горячей, пульсирующей — щедро выплеснувшееся семя, схваченное резиной, расплылось на языке приторным комочком — она вытолкнула его изо рта, набухший от спермы презерватив повис перед ней обессиленной пиявкой.

Клиент, похожий на стриженного кабанчика, затрясся и резко сжал волосы на затылке с такой силой, что они затрещали — острая боль цапнула Арину электрическим угрем. Кабанчик широко расставил ноги, а Калинина стояла перед ним на коленях, упревшись взглядом в прыщ на внешней поверхности жирного бедра.

Второй клиент — сын кабанчика — сзади: царапал лопатки шершавой ладонью — когда, наконец, и он отвалился на диван, Арина смогла разогнуть ноги и поднялась. Шмыгнула к туалету, схватила мыло с чужими женскими волосами и начала тщательно мыть руки, лицо, мазать резиновый язык пенистой рукой, после чего провела влажными салфетками между ног.

Черная блестящая лента конвейера с бодрой степенностью тащит на себе широкие банкнотные листы.

На босые ноги налипла пыль. Девушка намочила полотенце под сильной струей горячей воды и отерла замерзшие подошвы, потом скомкала посеревший от грязи комок и бросила в угол. Пробежалась взглядом по четырем зубным щеткам в матовом стакане, пестрым и дружным, как радуга; фальшивая сплоченность щеток неприятно отозвалась внутри, вызвала отвращение.

Продольная и поперечная резка — восемь полуметровых математически точных гильотин строгают и рубят бумагу...

Арина покосилась на заляпанное зубной пастой отражение в зеркале и торопливо отвела расширенные зрачки в сторону — не любила смотреть на себя сразу после «сеанса». Лицо казалось отравленным, чужим. Опустила глаза в черную воронку умывальника. Высморкалась и сплюнула. Не отрываясь от канализационной черноты, прихватила волосы заколкой. Вышла в коридор. Влезла в джинсы. Блузка, белая куртка с глубоким капюшоном, солнечные очки. Пересчитав деньги, взялась за холодную дверную ручку. В прихожей задержала взгляд на розовом трехколесном велосипеде и маленьких башмачках с желтыми звездочками.

Лазерный луч прошивает в купюре мельчайшие отверстия, которые образуют на бумаге цифру, соответствующую номиналу банкноты.

Шагнула в грязный подъезд. Под ногами хрустнула разбитая лампочка. Исписанные стены, разрисованная дверь лифта — смутные контуры надписей-заклинаний, клинопись и фольклор спального района. Наощупь нашла рыхлую кнопку. Бледная окружность кнопки загорелась гвоздикой — зыркнула со стены звериным зрачком. Ржавый скрип. В полумрак пахучей площадки этажа ворвался желтушный, заляпанный свет лифта. Ступила на хлипкий пол — с неприязнью ощутила судороги старой, раскачивающейся кабинки. Нажала бесцветную кнопку первого этажа, уперлась спиной в лакированную обшивку стены, задрала голову. Мыслей не было. На матовой, желчной лампе выжженные зажигалкой круги. Синий и черный маркер, на стенах выцарапанная ножом бессмыслица.

Достала из сумочки фляжку с коньяком и сделала несколько жадных глотков. Горло обожгло. Пробрало, плечи вздрогнули. Лифт трянуло, он раззявил пасть, выплюнув Арину в гадюшник первого этажа. Молодая женщина с четырехмесячным сыном на руках ждала, когда лифт освободится, а замешкавшаяся Арина уставилась из-под черных очков на белоснежного, почти сахарного мальчика, укутанного пятнистым шарфом с далматинцами — розовые, блестящие от слюней губы пускали пузыри. При виде ребенка Калинина содрогнулась, обняла его глазами, но сразу же смутилась, поймав на себе неприязненный взгляд молодой матери, которая, судя по всему, приняла Арину за наркоманку, а может быть, за ту, кем она и является на самом деле. Солнечные очки и капюшон — действительно чрезмерная маскировка.

*Денежные купюры хрустят и скалятся, строят глазки, блестят жемчугом. Иди ко мне, мой милый! Возьми меня, возьми! Ну что же ты, что? Не робей, дружок, я твоя, я твоя!*

*Больше-больше, скорей-скорей.*

Чистота младенца ударила, как током. Арина торопливо вышла и болезненно поморщилась от подступившего к горлу комка. Обгрызенные, покривившиеся почтовые ящики хохотали девушке вслед, бросали в спину хлесткие номера квартир, презрительно свистели пыльными щелями и оторванными дверцами, кривлялись ржавыми пятнами, похожими на искаженные от смеха рты.

Вышла на серую улицу: грязные автомобили, полиэтиленовое небо придавило, туго стянуло глаза. Контейнерная теснота. Мало воздуха. Слякоть. Бесцветность.

Засунула руки поглубже в карманы, зашелестела пропахшей сигаретами курткой в сторону метро — раздражение, вызванное детским велосипедом и зубными щетками, улеглось. Арина ощущала в себе сейчас обычное состояние тоскливого покоя и опустошения — после клиентов ей часто казалось: все это только что происходило не с ней самой, а с кем-то другим, потому что не могла все это делать та «я», та девочка с розовым кроликом на белоснежной подушке в уютной комнате с красивыми занавесками, девочка, зарывшая подле изогнутой сосны, растущей на берегу озера, коробку из-под монпансье с камешками змеевика и большими деревянными пуговицами, подаренными мамой, — просто не могла и все тут — поэтому, когда клиенты брали ее тело, часто говорила себе, что это не по-настоящему.

Подошла к перекрестку. Машины давили лужи и утюжили дорогу, издавая хищное шипение. Перед подземным переходом сидя спал попрошайка, подстеливший под себя листы сырого картона: сигарета за ухом, никотиновые, почти горчичные пальцы, кожа не лице — истрепанная мешковина. Привратник подземелья: не Цербер — оборванец: под стать преисподней и страж. Причмокивал, как лошадь, подрагивал хмельной, закопченной и обросшей физиономией. Перед ним на асфальте пыльная кепка-таксистка с горстью монет.

Калинина шлепнула ладонью по заляпанной, прозрачной двери входа в метро, прошла сквозь распахнутый турникет — турникет злорадно подмигнул, гостеприимный,

но готовый в любую секунду ударить. Толкающаяся, безвкусно одетая в серо-черные оттенки толпа — раздражительная и хмурая. Плотская вереница вспотевших тел — огрызаются, сопят, ненавидят. Перхотные затылки, небритые мужские шеи, прыщавые лица и тусклые глаза, равномерно распределяемые конвейером метрополитена по многочисленным станциям города, — селекционируемая, инерционная масса.

Из открывшихся дверей поезда высыпали тела, головы, ботинки, сумки — валом, точно старые кнопки и пуговицы из перевернутой шкатулки. Арина отстранилась от толпы и облокотилась на колонну, решив дожидаться более свободного вагона. Сняла солнечные очки. Когда давка рассосалась, прошла дальше вглубь станции.

Подошел поезд. Свободных мест не было. Шпроты ехали молча, без улыбок. Изуродованные, трахнутые очередным днем нелюбимой работы люди — чужим днем чужой жизни. Арина по-женски пробежалась глазами по содержимому аквариума: один симпатичный парень с сонным лицом и хмурыми глазами, похожий на голодного краба, читал книгу, время от времени потирая глаза — судя по всему марионетка какого-нибудь предприятия, топливо его чадающих печей; рядом с ним пара дорогих женских сапог и стильный кожаный рюкзачок — Калинина задержалась на лице модницы.

«Неудовлетворенная, несчастливая, как и я... ищет свой кусок мужчины, свой кусок жизни. Держит себя независимо и гордо, с подчеркнутым равнодушием, хотя боковое зрение неизменно ищет... не случайно она стоит рядом с единственным на весь вагон приличным парнем... Одежда броская, яркие перчатки, розовая помада... по ночам плачет от одиночества».

За окном вагона костлявая ржавчина каркасов и проводов. Металлический шум и скрежет обгладываемого подземельем поезда. Пассажиры плывут в небытие по рельсовой реке забвения.

Торопись, паромщик, поспеши.

На следующей остановке вышло много народу, освободилось место, и девушка устало опустилась на сиденье. Коньяк и качка вагона нагоняли сонливость, глаза начали слипаться. Арина потирала переносицу и смотрела в черное окно напротив, делая вид, что не замечает, как сидевший напротив азер со стоячим членом и в грязных кроссовках мусолит ее глазами. Калинина смотрела в темноту окна — поверх его головы. Дальше какое-то помешательство, мрачный шелест, плетью по глазам: одна жуткая личина, вторая, третья — промелькнувший в окне головастик с черным раскрытым ртом — вытянулся белесой массой — трепыхается, как рыба. Искаженные от ужаса личины — несколько размытых контуров — показалось? показалось? — через пару секунд повторилось снова — видение стало более отчетливым, гипнотическим, шарахнуло по глазам, приковало к себе внимание: полупрозрачные головы-слизняки с раскрытыми ртами заглядывают в вагон, проносятся рядом с окнами — Господи, да что же это, Господи? — что-то кричат и хрипло хохочут, вонзаются в мозг раскаленными кончиками стрел, тянутся серой пеленой, полурассеянной дымкой — отделились, кажутся недостижимыми, кажутся — потому что они — вовне. Я — внутри. Чужие. Почти загробные — может, померещилось? — мрак и пепел, мрак и пепел, люди стали прозрачными — озоновые контуры. Отстранились — а головы давят из-за окон, щупают, щерятся, вскипают, тянутся бешеные растерзанные личины. Навалились, суки. Торчат из жидкой, шамкающей бездны. Шуруются от желтого света, падающего из вагона в их оживший мрак. Поток-вереница. Пытаются схватиться за вагон. Отодрье. Тянут из тьмы долговязые жерди рук — только кажется или поезд действительно едет медленнее? — нависли балластом. Вагоны вязнут, как в трясине. Одна костлявая конечность все-таки ухватилась за борт вагона: призрачную фигуру выдернуло из черной жижи и потащило следом за поездом — с проворностью паука человекоподобное существо вскарабкалось к самому окну, заглянуло внутрь. Костлявая рука лезвием ножа прорвала стекло, как полиэтилен, — жуткая мясистая голова вползла в вагон

жирным червем... Рядом. Существо замерло. Воткнулось глазами — пугающее и отчетливое, как болезненный кошмар, галлюцинация. Жидкая фигура стала телесной, кровяной — напыжилась. Напряженные жилы и изодранные, лишенные кожного покрова мышцы — пульсируют, блестят и лоснятся, обтекают тягучей жидкостью — мертвец стоит очевидным фактом, бесспорным и явным — зовет за собой, шепчет что-то нечленораздельное.

Длинные пальцы — кость и жилистые куски мяса — прикоснулись к лицу девушки — Арина задыхалась, хотела кричать, трястись, упасть в обморок, но все ее существо было сковано, парализовано, насажено на эту страшную руку, будто на ось — девушка сжалась от окутавшего ее острейшего холода. Коловерть мыслей. Размазанная, полинялая реальность. Краски смешались. Границы стерлись — внутри или снаружи — начали путаться — лица пассажиров замелькали перед глазами, смешались с бледными личинами, с навалившейся тьмой — лица, похожие на слоистый телесный туман.

Она собрала всю свою волю и рванулась, но не смогла — ее дернуло обратно, резко и непримиримо, со всхлипом, потащило назад во мрак и скрежет.

## *Явление II*

Сизиф устался в жидкокристаллический экран, висевший на стене вагона. На экране мельтешила подборка счастливых кадров из несостоявшегося будущего женщины, которая не дала случиться всем этим прекрасным моментам: она невнимательно переходила пути, болтала по телефону и не смотрела по сторонам, так что попала под поезд. Потом был ролик про мальчика, который цеплялся за последний вагон и снимал себя на телефон, но затем превратился в упругий манекен, похожий на безносого Пинокио, и оказался обездвиженным на железнодорожном полотне, после чего на экране появилась посмертная надпись: «Не испытывай себя на прочность». Точно такие же манекены пристегивают к передним сиденьям автомобиля, прежде чем столкнуть их лоб в лоб с опасной преградой и снять на камеру то, как они будут убиваться об лобовое стекло. После ролика про Пинокио-самоубийцу началась пропаганда физических упражнений: какой-то придурок в шортах дубасил кувалдой по пустой крышке от трактора, которая лежала перед ним на полу. Он опускал кувалду плашмя, она пружинисто отскакивала, после чего неутомимый человек снова бросался избивать крышку. Бегущая строка внизу экрана рекомендовала данное упражнение тем, кто ведет слишком сидячий образ жизни. Если верить рекламе, подобное упражнение что-то там стимулирует, укрепляет, развивает и прочее. Сизиф смотрел сюжет и кивал головой, думая о том, насколько ценна для него эта информация.

Осталось купить кувалду и тракторную крышку.

Сизиф все ехал по кольцу, все смотрел в окно. Он был очень озабочен. Лицо выражало напряжение. В прямоугольном окне все знай себе мельтешили дома, столбы, магазины, какие-то понурые кирпичные будки и внушительные высотки с подсветкой.

Сизиф понимал: нужно торопиться, в сутках только двадцать четыре часа, а столько еще нужно успеть за сегодня, столько успеть. И смену отработать в дурацком офисе: пялиться в монитор до головной боли, до рези в глазах, штудировать списки и названивать-названивать по телефону, предлагать до тошноты, до помешательства — дистанционную программу образования для сотрудников строительных фирм: прорабы, инженеры, электрики, монтажники-высотники, пьяные каменщики и совершенно ужратые плотники-беспилотники. *Квалификация-переквалификация, аттестация, обучение, стандартизация и сертификация ISO, вступление в СРО...*

Лена сидела рядом и покачивала детскую коляску, поправляла распахнувшееся покрывало, заглядывала в маленькое личико сына, баюкала, ласкала, умилялась.

Ветряная оспа, пупочная грыжа, корь, желтуха, пузырьчатка, краснуха, опрелости, пеленочный дерматит, рахит, гормональный криз, конъюнктивит, кривошея, запор, понос, рвота, чесотка, герпес, скарлатина, инфекционная эритема, срыгивание.

Лена вдруг резко нахмурилась и повернулась к Сизифу:

— Мне кажется, что у Ванюши сыпь начинается. Ты его случайно не кормил фруктовой кашей сегодня? Знаешь же, что ему либо брокколи, либо мясную надо.

— Я помню, нет, с утра овощную только давал и все. Может быть, это обычное раздражение из-за пыли или потница?

— Странно... не похоже. Присыпка, кстати, заканчивается... не забудь. Купи сегодня еще крема под подгузник, череду и ромашку.

— Ты его слишком кутаешь, по-моему. Все из-за этого.

— А по-моему, нет. На улице не май месяц, да и сквозняки везде... Еще масло персиковое и вазелиновое нужно. И свечи для иммунитета. «Бепантен» только не забудь, Христа ради.

— Не забуду.

— Ты всегда так говоришь, а потом что-нибудь да забудешь вечно.

— Не забуду.

— И закажи по интернету нормальную коляску, а это китайское говно я сегодня же выброшу...

— А с этой что не так?

— Да она вся какая-то не такая...

Тут по вагону прошла молодая симпатичная девушка в обтягивающих стройные ноги брюках. Сизиф не мог не среагировать и проводил ее усталым, невыспавшимся взглядом. Когда девушка скрылась в другом вагоне, Сизиф тяжело вздохнул.

Лена с ненавистью ударила по колену мужа кулаком.

— Эй, але! Я с кем разговариваю, кукарача? Ты со мной вообще, нет? Или ты познакомиться хочешь, так иди... мы с Ваней подождем, что ты сидишь?! Ну?

— Перестань, я просто посмотрел...

— Я ему про коляску тут говорю, что мы с Ваней мучаемся на этом китайском говне, а он там телку какую-то разглядывает...

— Да я слышу тебя. Не надо эту коляску выбрасывать, я продам...

— Ба-а-а, какие мы предприимчивые-то, оказывается, ну просто мать моя тарантелла... Во время покупок так включаться надо, тогда и продавать ничего не надо будет... У ребенка, сука, сыпь, а он сидит, сука, думает, как коляску повыгоднее толкнуть, да на шлюх каких-то косметических поглядывает... Нормально устроился... но я тебя расстрою, ты как подойдешь к этой телке, так и отвалишь — стоит ей узнать о твоей интересной работе, просто космических перспективах карьерного роста и тех горах бабла, которыми ты завален...

— Слушай, уже достала твоя критика — третий год наших отношений все покупки на мне, и вместо благодарности я постоянно должен...

— Дак ты же даже продукты не можешь нормально купить! Отправила вчера за приправами для супа, а ты пакетированные семена принес...

— Да там пакетики одинаковые вообще — тоже овощи какие-то нарисованы и травки, откуда я знал, что это семена...

— Ты бы еще рассаду притащил. Садовод, сука... юный, сука, натуралист. Товарищ Лысенко!

— Послушай, лошадь, если тебе что-то не нравится, тогда ходи в магазин сама!!! Хватит на желчь исходить, ты че взбесилась опять, грива трахнутая?

— Да потому что зло берет... я тебе наш медовый месяц, сука, простить не могу... Машка Селезнева, одноклассница моя бывшая, в обычный отпуск круче ездит

отдыхать, с большим размахом, чем ты нам медовый месяц устроил... тоже мне глава семейства, сука... «третий год на мне», батюшки, вы посмотрите на него... ты бы видел свое хайло — ты сейчас чем-то на архиерея похож: с таким чувством собственного достоинства брякнул про эти три года, что прям хоть благословения просить... Машка каждое утро такие роскошные фоточки выкладывает в инстаграм — то у бассейна, то в Венеции, а я тут с тобой по этому траханому МЦК болтаюсь с этой дерьмовой китайской коляской... еще и у Ванюши сыпь началась до кучи... и ты еще сук каких-то косметических разглядываешь... Прекрасно просто! Холуйство какое-то сплошное, а не жизнь...

— Опять вечная пластинка твоя... не усложняй, Лена, Ваня чуть подрастет, поедem куда захочешь... или давай на маму его твою оставим, хоть в следующем месяце сорвемся...

— И это мне говорит человек, с которым мы живем на съемной хате... Господи, за что мне это?! Интересно, то есть ты предлагаешь за пустую нашу квартиру тридцатку отдавать в месяц, пока мы отдыхаем?... да ты не зарабатываешь столько, сука, чтобы так шиковать...

— Ой, слушай, не хочешь — не надо... мое дело предложить... И почему ты так часто повторяешь слово «сука»?

— Да потому что, сука, ты бесишь! Ипотеку брать надо, а какая с твоей работой может быть ипотека? Ты на вшивом окладе, сука, и сомнительном проценте, как лох, сидишь...

— Послушай, залупа... ты такая умная, я смотрю, а вот если бы ты хотя бы на вшивом окладе сидела, а не резиновыми членами торговала и не коуч-процедурами своими, то мы бы за Ванюшу декретные получили... так что помалкивай давай, курица, вошь ты моя практичная...

Задетая за живое Лена отвернулась к окну и немного всплакнула. Смотрела в серое обездушенное окно, на костлявые дома-полутени, на красивые высотки, стеклянные пирамиды, сверкающие торговые центры и линияые церквушки. Плотными потоками машины катили по блестящим дорогам, перемигивались фарами, куда-то спешили, фыркали, прели, пускали выхлоп, насыщая воздух своей ядовитой горчинкой; большой, сложно нагроможденный город вклинивался в окно вагона, как многоярусный пароход, вываливался на девушку из горизонта, как долгожданный контур земли в морской беспощадной пустоши — всеми эти пестрыми вывесками и заманчивыми огнями: абрикосово-алые, синие и золотистые брызги-жемчужины, похожие на сладкие пузыри; на минуту Лена почувствовала себя какой-то рыбешкой, которая смотрит из своего аквариума на такой большой и сложный мир людей, но не может принять участия в его жизни.

Тут на станции около «Москва-Сити» вошел статный мужчина лет сорока, достаточно эффектной наружности, широкоплечий и, что называется, с бесенятами в глазах. Мужчина смотрелся сильно подвыпившим, но это его нисколько не портило, даже под хмельком он казался очень ухоженным и пригожим, поэтому был для Лены гораздо более желанным, чем до тошнотворности трезвый и рассудительный Сизиф. Мужчина сразу покори́л Лену, но присутствие супруга все портило. Она с ненавистью глянула на Сизифа, потом обласкала взглядом незнакомца, бросила взгляд на сына в коляске, которую не забывала все время легонько покачивать, после чего томно вздохнула и снова посмотрела в свое аквариумное окно.

Сизиф впери́лся в розовое, опостылевшие до чертиков ухо отвернувшейся супруги — если бы его кто-то увидел в эту минуту со стороны, то случайному свидетелю могло бы показаться, что Сизиф с трудом сдерживается, чтобы не рвануться и не уку́сить девушку за ухо — вцепиться в него зубами, как в селедку, и теребить-теребить-теребить: с хрустом почавкивая и мурлыча. Сизиф перевел взгляд на малыша, откинул от его лица плед — никакой сыпи он там не увидел, просто небольшое раздражение,



но решил про себя, что нужно в любом случае купить все необходимое и посоветоваться с врачом. Советам жены он не верил, так как слишком хорошо знал, что большую часть информации она черпает на каких-то сомнительных «телячьих», как он их называл, материнских форумах, *где все такие умные, что аж страшно. Удивляюсь, как ей там еще никто не посоветовал вскипятить Ванюшу в кастрюле.*

Вдруг Лена резко встрепенулась и посмотрела на Сизифа, как будто вспомнила что-то очень важное:

— Какая сейчас будет остановка?

Сизиф снова поднял глаза на жидкокристаллический экран в конце вагона.

— Кутузовская.

— О, сейчас мамуся зайдет, мы с ней договорились... Она тут где-то с подругой встречалась... решила к нам присоединиться, по Ванюше соскучилась уже... сейчас сыпь увидит, распереживается тоже...

Лена достала из сумки телефон и написала маме, в каком они вагоне. Когда поезд остановился, действительно в числе прочих пассажиров в поезд вошла теща Сизифа: похожая на розового поросенка, она ввалилась в двери и начала вертеть головой, рыскать по вагону глазками. Сизиф сжал ягодицы, напряг скулы и кулаки — сам того не ведая, он почему-то всегда группировался подобным образом, если к нему подходила мать его супруги, причем это происходило как-то рефлекторно, а главное — с каким-то заикленным постоянством. Из года в год присутствие тещи вызывало в Сизифе одни и те же позывы. Замечать за собой данную странность Сизиф начал только недавно, и теперь после каждой встречи с ней давал себе зарок отучиться от этой дурацкой, какой-то слишком уж не мужественной привычки, мысленно делал это, сжигал, как говорится, все мосты, махал шашкой, поэтому считал уже дело решенным, но вот мясистая физиономия тещи снова приближалась, наступала, заглядывала в глаза и обнюхивала, а Сизиф даже не успевал овладевать собой, он снова сжимал ягодицы, напрягал скулы и кулаки.

Матушка его супруги была женщиной настолько же энергичной, насколько и полнотелой. Похожая на вскипевшую кастрюлю, она бодро побрякивала головой, как крышкой, так же вспенивалась и без конца брэнчала, пузырилась, плевалась и дребезжала, раскачивая своими крутыми, почти эмалированными (так сильно они блестели) боками. В детстве какие-то жестокие люди — судя по всему, родители — назвали ее слишком уж непривычным для русского слуха ветхозаветным именем «Эбигейль». Особенно странно это имя воспринималось, если учесть приложенное по наследству отчество «Фёдоровна». Эбигейль Фёдоровна походила на чистокровную кустодиевскую купчиху, такую же пышную и мясистую, такую же румяную и сдобную, вечно упоенную, сытую: настолько она была похожа на этих кустодиевских дам, что даже чай пила из блюдечка — но мало ей было и этого сходства, у Эбигейль Фёдоровны, как назло, имелся в хозяйстве даже настоящий самовар (электрочайников она не признавала по религиозным убеждениям); эта вечно взмыленная, не то с самовара, не то с водочки, туша сильно нервировала Сизифа. В сердцах Сизиф иногда называл свою тещу «толстая сука», «Ебигелевна» или «Эбигайло» с эмоциональным, усиленным ударением на «О». Впрочем, сам Сизиф не понаслышке знал, что значит непривычное имя — поэтому особенно на «Ебигелевну» не напирал, стараясь из деликатности несколько смягчать произношение и слишком уж не окать.

— Здравствуйте, Эбигейль Фёдоровна. Мы по вам очень скучали.

— Привет, мамасик.

Теща-поросенок помельтешила перед глазами, что-то потрогала, что-то понюхала и облобызала, что-то бегло оценила на глаз — смертоносным вихрем пронеслась перед Сизифом, Леной и малышом какими-то молниеносными, но очень влажными, пахучими вращениями, потом как-то резко остепенилась, поправила резинку от трусов, подтянув свои «апокалипсические рейтузы», как их называл Сизиф, и шагнула

к соседнему ряду сидений, подняла подлокотник соседнего кресла, а затем благополучно приземлила свою пышную фигуру. Тяжело выдохнула, как будто только что опорожнила кишечник, отерла лоб белым платочком и поправила чуть съехавшую набок шляпку, после чего уставилась на супругов, часто хлопая своими пороссячьими глазками. Сизиф сидел ближе к проходу, поэтому Лена наклонилась через него и что-то начала рассказывать матери — перед самым носом мужа. Сизиф смотрел то на волосистую макушку жены, то переводил глаза на Ебигелевну, делая вид, что тоже слушает, хотя на самом деле он отдалялся все дальше, терял опору-связь с реальностью. Теща то охала, то прыскала визгливым хохотом; Эбигайло то сентиментально покачивалось в разные стороны, как деревенская плакальщица, то с вдохновением рвалось вперед, спешило рассказать, воодушевлялось, возмущалось, негодовало — женщина все склонялась-склонялась к своей дочери, все больше перегораживая проход вагона — Сизиф осязал двух этих дам, которые все больше наваливались на него, сдавливали, терзали его личное пространство — минутами ему казалось, что они лягут на него и раздавят, резкий запах Ебигелевных духов ошпаривал глаза и ноздри, как яблочный уксус, а черная шляпка-крышка мелькала перед носом. Лена уже совсем перекинулась через Сизифа. Все это да и шляпка впридачу настолько сильно его раздражали, что он хотел выйти из поезда, срочно и немедленно, может быть, даже выпрыгнуть на ходу, только бы убежать, отдалиться и забыть-забыть все эти инородные запахи и предметы, эти куски мяса, которые оккупировали его жизнь, безнадежно поработили и теперь мучают его, мучают, мучают — *где здесь стопкран, Господи? Это не МЦК, а какой-то заколдованный круг, гребаный лимб* — волосатая бородавка Ебигелевны становилась все ближе и отчетливее, Сизиф уже мог разглядеть ее кремнистую, шероховатую поверхность, он уже мог различить седой волосок, торчащий из этой бородавки, Сизиф уже видел волосатые ноздри тещи-поросенка, а полы ее шляпки уже угрожали его зрению — Лена не уступала своей матери, она так сильно навалилась на мужа, что Сизифу казалось — он не человек, а паркет, на котором бьют чечетку две осатанелые курицы в сапогах; Сизиф не понимал, как это курицы могут быть в сапогах, но все же отчетливо чувствовал, что эти две осатанелые курицы были именно в сапогах — высоких и хромовых, с подковой, как у энкаведешников, и вот они прыгают по его голове — по паркету, — они кудахчут что-то нечленораздельное, потеют и обрушивают на Сизифа запах своих взмокших бройлерных сучьих тел, и все знай себе молотят-молотят его тяжелыми хромовыми сапожищами.

— Лена, а сколько времени?

Теща вдруг оборвала свою оживленную беседу-совокупление и вместе с дочкой, как по команде, посмотрела на Сизифа, задавшего этот странный, такой неуместный, а главное неделикатно перебивший их излияния вопрос.

— Посмотри сам, Сизя, откуда я знаю? Видишь, мы с мамуткой говорим.

Сизиф был стоек и выдержан, когда его благоверная называла Эбигайло «мамасиком» или «мамусей», но когда Лена обращалась к Ебигелевне «мамутка» — Сизифу особенно сильно хотелось выйти на станции, спрыгнуть с платформы и положить голову на рельсы — в общем, повторить судьбу Пиноккио-самоубийцы из рекламного ролика.

Инцест — дело семейное...

— Тогда ты не могла бы так не наваливаться на меня, я даже телефон из кармана достать не могу... И посмотри, как там Ванюша, а то он что-то затих.

— Да он спит просто...

Лена отодвинулась, вездесущая Ебигелевна тоже сразу вдруг откатилась к своему креслу, как пупырчатый баскетбольный мячик-прыгун, похожий на вертлявое пороссячье брюшко. Сизиф сделал глубокий вдох, затем выдохнул, прислушался к себе: артериальное давление повышенное, пульс, наверное, где-то 115 ударов в минуту. Температура в вагоне 26°C (зеленые цифры на экране для особо пытливых). Температура

тела нормальная. Легкое состояние шока и метафизическая обезвоженность (обезбоженность?).

Сизифу вспомнилось детство: тетрадка с мягким голубым переплетом, куда он в начальных еще классах вливал свое щемящее тепло; сначала тетрадка наполнилась размашистыми и наивными мыслями, затем страницы все больше испещрялись стройными столбцами-рифмами и красивыми рисунками на полях, а потом затерялась в стопках школьных тетрадей и блокнотов, а еще через несколько месяцев после выпускного он делал уборку, собрал содержимое всех ящиков в полиэтиленовые пакеты из-под мусора и вынес на помойку. У него был «приступ чистоты» тогда, как он это называл. Сизиф отчетливо помнил, с каким удовольствием вытирал влажной тряпкой пустые ящики, перемыл все полки и распахнул окно. Ему тогда казалось, что это обновление. Теперь он понимал, что это было обмывание и похороны.

Тетрадка, ты моя, тетрадо́чка, где ты сейчас? Где?

### Явление III

После репетиции Арсений ушел в гримерку. Растворимый кофе из пластиковой чашки с ручкой и разовой ложечкой, дрянной коньяк из гастронома за сто пятьдесят рублей — продавался в граненом стакане прямо на кассе рядом с презервативами и жвачкой (стакан был заботливо закрыт железной крышкой от банки, в какие обычно бабули закатывают соленья): из всего этого почти сюрреалистического ужаса получилось вполне себе сносное месиво. Большого на опохмелку Арсений себе позволить не мог — слишком сильно вчера потратился. Молча смотрел на пыльную стену с выщерблинами, на железную перегородку под потолком, полоскал напитком рот, раздув щеки, потом тяжело глотал. Играл сегодня без удовольствия, как на привязи, чисто по инерции, хотя голова почти не болела.

В коридоре слышались шаги. Через несколько секунд появилась молодая статистка — бледнокожая и подвижная: высунула из проема свою смешливую мордашку и положила на стену сдобную руку.

— Ох уж этот Арс, опять к нему какая-то красоточка пришла... Спрашивает тебя... В зале сидит такая вся из себя, прям не подойдешь...

Кокетливые глаза с ласковой насмешливостью глядели на актера.

— Кто такая? — сделал еще один большой глоток уже остывшего кофе и поставил стаканчик на стол. Арсений смотрел на улыбчивое личико через отражение в зеркале, не поворачивая головы.

Статистка, тщательно затянувшая хлебные бока в голубые джинсы, пожалала плечами:

— Да я-то откуда знаю... но особа очень себе даже такая, роскошная такая бутоньерочка... Фигурка что надо, я бы сама ее прижала где-нибудь с удовольствием, пощупала за разные мягкости...

— Ой, Жанна, да ты бы всех прижала где-нибудь с удовольствием и пощупала, любую двуногую особь...

Актер лениво поднялся и не спеша вышел в зал. Жанна прострекотала вслед что-то насмешливое... На последнем ряду сидела его бывшая девушка Лика: чернобровая и смуглая. Пока не видела Арсения, держалась с подчеркнутой недосягаемостью — по чертам лица разлито желчное равнодушие. Уставилась в экран телефона и с чувством легкого превосходства игнорировала заинтересованные взгляды окружающих мужчин-актеров, провоцирующих на флирт. Время от времени поднимала глаза на пустую сцену, глядя поверх голов. Большинство мужчин робело перед этим типом красоты, в Орловском же наоборот подобная неприступность пробуждала желание покорить и победить — моментально воспламеняла всю энергию, как порох.

Ли́ка в очередной раз оторвала глаза от телефона и посмотрела на сцену: встретилась взглядом с Арсением, моментально скинула броню — огнедышащая неприступность сменилась игривой улыбкой нашкодившей девочки — той, какую показывала лишь тем, кого допускала извне. Девушка поиграла в воздухе пальцами и убрала телефон в карман плаща, сложив руки на колене. Арсений очень удивился: после того, как расстались, не созванивались весь прошедший год, а тут вдруг приходит сама. Ли́ка сидела и улыбалась, закинув ногу на ногу, точно так, как раньше, бывало, ждала его после репетиций — даже села на то же самое кресло в последнем ряду у прохода. У Орловского в мыслях проскользнуло, что это неслучайно.

Хочет, чтобы все стало по-прежнему?

— Ба, какие гости... ас-саяму алейкум, Ликусик, — спустился со сцены по ступенькам и двинулся к ней, поскрипывая паркетом.

— Привет, Арс, — поправила челку, свалившуюся на глаза.

Актер сел в соседнее кресло и приобнял девушку.

— Ну, какими ветрами? Найс ту мит ю и все такое прочее... Колись сразу, что привело тебя: слезливая меланхолия, недотрах или прозаическое желание почесать языком?

Ли́ка засмеялась, обнажив несколько неровных зубов — оттопыренный клык прилично высовывался, но при этом совсем не портил ее. Густые волосы спадали на плечи, сильно вились. Арсению до сих пор нравилось смотреть в эти широко распахнутые глаза — они притягивали своей жадностью к жизни, но сейчас, разглядев лицо пристальнее, понял: в глубине этих глаз что-то кровоточило.

Актер провел рукой по ее шее, погладил выпирающий кадык, смешной, как у костлявого мальчишки — всегда нравилось касаться его.

— Ты все такой же, — Ли́ка отвела его руку от своей шеи, сжала в пальцах и положила к себе на колени, обтянутые кожаными брюками. — Нет, я пришла по важному делу...

— Ты все-таки решилась работать на камбоджийскую разведку... Я знал, что рано или поздно любовь к мулатам доведет тебя до этого...

Ли́ка проигнорировала оскал Арсения. В ее лице не изменилось ни черточки.

— Слушай, заканчивай уже, шуткарь... я реально по серьезному делу, хватит уже паясничать, — оттолкнула руку Орловского.

Арсений поднял ладони, как бы капитулируя:

— Ну все, все, я весь — слух.

— Только обещаю, что не сочтешь меня больной извращенкой или спятившей дурой?

Актер покачал головой и развел руки:

— Тут увольте... то, что ты извращенка, я и так знаю, а по поводу дуры...

Увидев рассерженное выражение лица девушки, он взял себя в руки:

— Да все, блин, прости... Не удержался. У тебя вид такой, как будто ты Версальский мир заключать пришла, попробуй тут быть серьезным... все, майне кляйне, вас ис дас... теперь я плюшевый пайнык. Говори, что там у тебя?

Орловский постоянно ловил себя на том, что слишком часто шутит не от переизбытка веселости, а наоборот, вследствие утраты внутренней опоры, то есть в периоды наиболее острых депрессий, доходивших до ломоты в теле и обездвиженности. Арсению допускал, что так в нем проявлялась многолетняя привычка к актерству, которая уже давно приняла болезненную форму своеобразного эксгибиционизма и садомазохизма: постоянно ловил себя на том, что больше всего любит те роли и того режиссера, которые наиболее ожесточенно расшатывали «больные зубы», причиняли наивысшую боль, как ножом проходились по изнанке утробы. И стоит найти такого режиссера, тут же Орловский начинает распаиваться и выставлять напоказ свои язвы,

как нищий на паперти, и все никак не может остановиться, впадает в зависимость и чувствует себя почти что счастливым, по крайней мере, удовлетворенным.

Левой рукой Лика нервно теребила ремни сумки.

— Есть к тебе одна странная просьба... Моя подруга уже несколько лет замужем и не может забеременеть... они очень хотят детей...

Арсений откинулся на спинку кресла, как обожженный:

— Дева Мария и святая апостольская церковь... А вот это вот опачки, хера себе поворотец... от меня-то что нужно, боюсь спросить... куда я-то здесь вписываюсь в этот сюжетец, скажите, пожалуйста?

— Да ладно, как будто не догадался? — пристально посмотрела, шмыгнула носом и стряхнула с коленки прилипшие волосы, которых на самом деле не существовало.

Орловский замахал перед собой руками:

— Э-э-э, вообще-то нет... Давай только без шарад, просвети... Я вроде бы на аиста не похож...

Лика гвоздила слова в пол, несколько отвернувшись от Арсения, даже немного торопилась — боялась, что перебьют:

— Ты пойми, у них не много вариантов: либо взять в детском доме, либо искусственное зачатие, но чужого они не хотят... это плохо, когда совсем не знаешь, какая в нем кровь... не говоря уже про все эти пробирки, микроскопы... как-то слишком уж не по-людски, знаешь... операция по смене пола, а не беременность... тем более, это около полумиллиона стоит — приличная сумма, сам понимаешь... хотя за роды в нормальном перинатальном у нас часто еще больше платят иногда, но дело не в деньгах же, конечно, здесь больше нежелание играть в маневры и обходные пути с матушкой природой... Они же там специально выращивают сперматозоид, потом как-то его вгоняют, в общем, жуть... прям полное папа Карло, как из табуретки ножичком стругать...

Арсений осторожно смотрел на профиль девушки, как будто боялся, что она ужалит. На последних словах приподнял левую бровь:

— И-и-и?

— Третий вариант — найти мужчину, который помог бы забеременеть... Она обратилась ко мне... ну, за советом больше... мы всех наших бывших перебирали несколько часов... и знаешь, как-то все стрелки на тебе сходятся... у тебя и генетика, и...

Арсений засмеялся — это был растерянный, защитный смех. Через несколько секунд смех резко оборвался, Орловский стал серьезным и отстранился — лицо актера дрогнуло. Когда просмеялся, плотно сжал губы:

— Джизес, как говорят американцы... да я просто польщен... то есть ты за спермой моей пришла?! Ну что ж, подавай чарку свою или что там у тебя с собой: бараний рог? Могу в солдатский котелок или косметичку подрочить, мне в принципе без разницы... я не привередливый. Слушай, да это же прелесть сюжетец... Современная драматургия. Надо Дивиля нашего позвать, он разовьет тему по-любому...

— Вот давай только без истерик...

Широкоскулое лицо актера придвинулось ближе:

— Да какие истерики, что ты? Ты мне лучше скажи, почему пришла именно ко мне? У тебя в прошлом что ли нет никого поадекватнее? Или у меня табличка где-то осеменительная висит? И блин, почему бы не выбрать кого-то из ее бывших? Все одно менее конфузливо бы получилось, чем такая вот демографическая случка с первым встречным...

Лика отмахнулась рукой:

— Если бы все было так просто... В Москве банально адекватного человека найти сложно, не говоря уж об одаренности хоть какой-то маломальской... тем более у тебя резус-фактор отрицательный — редкий — то, что нужно как раз.

Орловский усмехнулся:

— Ну ты даешь, даже я не помню, какой у меня резус-фактор... ты-то откуда знаешь?

— Мы, женщины, всегда на такие вещи обращаем внимание... я у тебя чуть ли не на второй встрече это выведала, после знакомства.

— Мда... Значит я на вас двоих самым адекватным оказался? Хорошенький у вас опытец, судя по всему... Суровая действительность. Вы с кем там встречались-то? Если я самый пригодный среди них, там что за отморозки-то вообще были? Вы случайно не рядом с колонией-поселением выросли с ней? — уперся обеими руками в спинку кресла, перед которым сидел.

— Говорю же, ты идеально подходишь и по характеру своему, и по физике... Талантлив, здоров, не куришь, еще бы не пил, сволочь, вообще бы золотой был, я бы точно тебя не отпустила, захомутала.

Орловский закивал:

— Да, и девушек бы не любил, и крестиком бы вышивал, и по команде бы вставлял, как заводной кролик.

Лика засмеялась, а Арсений все бубнил:

— Захомутала бы... Я бы захотел, еще бы не захомутала, но я не хотел тогда...

Девушка пристально посмотрела в глаза актера, зацепившись за слово «тогда»:

— А сейчас? Сейчас хочешь?

Арсений промолчал, сделав вид, что не услышал вопроса, а через несколько секунд, не получив ответа, Лика сделала вид, что не задавала его. Отвернувшись от актера и снова подобрала на ноге несуществующую нитку, скатала ее в невидимый шарик и выстрелила им щелчком пальцев.

— Плюс по фото ты ей единственный понравился, — снова глядя в пол.

Лика скрестила пальцы замком. Орловский дернулся, так что стулья скрипнули:

— Охренеть, ты смотри-ка, меня уже и презентовали... Тактико-технические характеристики тоже обсудили уже? Может home видео наше показывала ей? Член мой с линейкой не рисовала? Роскошно просто. Тщательно спланированная случка, вы как в собаководстве прям... Пегого с пегим, родословная, паспорт, холка.

Положила руку ему на коленку, продолжая смотреть в пол:

— Не ворчи... Ну так что, согласен?

Актер взлохматил голову.

— Ты огорошила, конечно... Еще и ответ сразу хочешь услышать, как будто сигарету стрельнуть пришла... А, так значит я не ошибся, тебе реально прямо сейчас отцедить?!

Орловский начал шарить в ее сумке:

— Давай, доставай свою чарку, сразу подрочу, и разойдемся, как в море корабли.

Лика прикрыла рот ладонью. Приступ хохота довел ее до слез:

— Вот, вот еще одна причина, по которой биологическим отцом должен стать именно ты — здоровое чувство юмора... Ой, — отерла слезы мизинцем, — само собой, я не тороплю тебя с ответом. Подумай. Только хочу, чтобы ты знал — для них твое решение — это все. Ты можешь сделать их счастливыми, тогда как от тебя требуется сущий пустяк. Уж прости за пафос.

Некоторое время сидели молча.

— А как все это будет происходить вообще? — полушепотом.

Лика достает из сумки список:

— Сначала сдашь все эти анализы. Откажешься от алкоголя на месяц, правильное питание — это все на твоей совести. Если анализы будут хорошие, вы встретитесь где-нибудь на нейтральной территории и...

Лика смутилась:

— Дальше, я думаю, ты сам разберешься, как действовать, — не школьник.

— Да уж симпровизирую что-нибудь... сыграю для нее монолог из «Гамлета», например.

Девушка взяла руку Орловского. Сжала его пальцы.

— И пожалуйста, никаких вопросов во время встречи. Не пытайся ничего узнать.

— А, то есть нам молча этим заниматься? А я хотел ей еще свою любимую сказку Андерсена «Огниво» рассказать во время случки.

Девушка улыбнулась. Встряхнула голову и почесала затылок, играя своими черными волнистыми волосами:

— Уверена, ты меня понял. У них своя жизнь — у тебя своя. И два этих мира не должны пересекаться. Только один раз... Мужу и так вся эта ситуация, как пытка. Он очень ревнивый, а тут добровольно свою женщину отдать на время другому... Представь себе, каково ему?

— А, то есть там муж еще над душой стоять будет, пока мы демографию в стране поднимаем?

Ли́ка толкнула его кулаком в плечо:

— Конечно, нет... Кстати, я забыла сказать, тебе хорошо заплатят за эту помощь... Так что ты не только доброе дело сделаешь, еще и подзаработаешь.

Арсений фыркнул и отодвинулся в сторону:

— Ну вас с вашими деньгами... Что я, супермаркет, что ли?

Девушка посмотрела с укором:

— Зачем этот цинизм, они просто хотят отблагодарить за помощь. Ну и для них это своего рода гарант конфиденциальности... того, что ты реально потом не будешь лезть в их личную жизнь.

Актёр уставился на сцену и начал покачивать головой, как будто пытаешься прийти в себя:

— Мне, честно говоря, иначе представлялся первый опыт отцовства...

Взял из рук Ли́ки список анализов и пробежался по нему взглядом. Потом заглянул девушке в глаза:

— Телефон не изменился у тебя?

Ли́ка отрицательно покачала головой и облизала губу. Орловский опустил глаза на ее язык и улыбнулся:

— Ладно, я подумаю. Имей в виду, что пока не дал своего ответа. Наберу на днях.

Ли́ка положила руку на плечо актёра, поцеловала в щеку и встала. Уже выходя из зала, бегло оглянулась:

— Жду звонка!

Махнула рукой и закрыла дверь...

\* \* \*

Ли́ка заехала рано утром. Желтые лампы фар пощекотали занавеску Орловского — он жил на первом этаже; фары поскреблись в сумеречное окно и окончательно взбодрили, позвав за собой. Актёр зевнул, отодвинул штору и выглянул на улицу, потом накинул спортивную сумку на плечо и вышел к машине, щелкнув зубастым замком входных дверей. В салоне пахло новой кожей и духами.

Сандаловый «Moonmilk»...

Бордовый «седан» девушки долго протискивался сквозь тесные дворики, увязал колесами в водянистом снегу, смешанном с грязью, — наконец выбрался на оттаявшую дорогу и начал торопливо, как запыхавшийся пес, облизывать мокрый и соленый асфальт. Снежно-землистая каша налипала на грязные фары и бампер. Брызги на запотевающем стекле.

Орловский сидел рядом и смотрел на сосредоточенную Ли́ку, на хорошо знакомую ямочку под носом, покрытую белым, почти незримым пушком, на

выпирающий кадык и стройные ноги, обтянутые клетчатыми брюками и высокими оранжевыми сапогами.

Как же все-таки она хороша...

Несмотря на то что девушка была полностью поглощена дорогой, по неопытности приподнимаясь над рулем к самому потолку, чтобы лучше разглядеть, где кончается ее капот, а где начинается задний бампер другой машины, Орловский все-таки чувствовал: Лику смущает его пристальный взгляд и близкое присутствие.

Неужели действительно до сих пор любит? Так взволнована. Или просто очень хочет...

— Арсюш, ты слово сдержал? В рот ни капли? — не поворачивая к нему лица.

Актер улыбнулся:

— Чист, как лимонад «Тархун». Моей кровью вино в воду можно превращать. Завтра бокал выпью и склеюсь сразу, — весело прищурил глаза.

После ответа Арсения сосредоточенный на дороге взгляд девушки затеплился лаской: Лика очень любила, когда он улыбался так искренне и легко, как сейчас, то есть без лицедейства — в эти минуты «он пах ребенком», его глаза становились особенными, широко раскрытыми и мягкими. Лика не видела сейчас его глаз, но безошибочно определяла, как и во время разговоров по мобильному, что в данную минуту они именно такие — улыбка всегда слышна и осязаема даже для тех, кто лишен зрения.

— Я в тебе не сомневалась... и анализы чудные, — выглядывала на дорогу поверх большого серебряного кольца с изумрудом: левая рука с кольцом лежала на руле, а правая — время от времени касалась рычага коробки передач.

Арсений отогнул рукав, чтобы открыть циферблат часов, бросил на стрелку сонный взгляд:

— Сколько нам ехать?

Автомобиль остановился на светофоре, Лика повернулась к Орловскому:

— Часа два, так что можешь вздремнуть...

Актер ухмыльнулся и в очередной раз щелкнул пальцем по солнцезащитному козырьку с маленькой пластиковой иконкой Христа, чтобы захлопнуть его. Козырек постоянно сползал вниз, раскрываясь на кочках, так что дешевая иконка неотступно попадалась на глаза.

— Боишься, что дорогу запомню, а потом потащусь искать?

Лика встряхнула волосами:

— Нет, не боюсь. Мы же в левую гостиницу едем, — на секунду отвлеклась от дороги и заглянула в глаза, — а тебе не все равно? Мы же договаривались, что никаких вопросов?

Арсений насмешливо качнул головой, но промолчал, просто повернулся к окну. Через несколько минут задремал, откинув затылок на спинку сиденья. Время от времени девушка посматривала на его свежевыбритый подбородок с глубокой впадинкой, на налитую кровью мочку уха и взъерошенные волосы, по которым так сильно хотелось провести рукой, — Лика помнила, что самое чувствительное место Орловского — затылок. Когда они жили вместе, часто скребла пальцами и гладила его голову, ощущая всем телом, как Арсений сначала сильно вздрагивает, будто накаляется, а потом теряет опору и проваливается в сон. Любила так успокаивать запальчивого балагура и крикуна, каким он был раньше, — сейчас Лика думала о том, что им все-таки помешало.

Долгое время она была влюбчивой, часто обжигаясь поверхностными, но очень порывистыми чувствами, но со временем поняла, что любила не столько своих избранников, сколько саму любовь — она любила любить, а уж объект для этого монологического таинства всегда находился сам. Серьезной помехой во всем этом интимном действе была собственная сексуальность. На девушку обрушивали слишком



много внимания, которое мешало, мусорило в ее жизни и осложняло выбор. При том, что в младших классах она считалась страшненькой, особенно часто ее дразнили «старушкой» за выступающий кадык, к семнадцати годам девичья красота стремительно созрела и распахнулась. Когда Лика на первом курсе впервые осознала свою власть — эта власть ударила в голову, ожесточила, но Арсений стал первым, кто не только прорвался через ее заслоны и получил доступ к телу, он стал тем, кого она по-настоящему полюбила — уже не любовью к любви, а любовью к мужчине.

Машина сбавила скорость. Орловский проснулся от ласкового прикосновения к плечу:

— Арсюш, подъезжаем...

Актёр открыл глаза: кирпичные трубы, почерневшие стекла, ржавые двери. Серые горбатые десятиэтажки.

— Просыпаясь, ты такой трогательный... когда жили вместе, я любила вставать раньше и наблюдать за тобой спящим.

Орловскому было приятно слышать это, но он намеренно проигнорировал ностальгическую нежность — с напускной сонливостью посмотрел вокруг себя, потирая глаза и зевая шире, чем хотел в действительности:

— Ну и родину вы присмотрели для малыша... На худой конец я мог к ним в Питер мотнуться или они его в рабоче-крестьянских традициях хотят воспитывать? Колочая проволока, ржавые гаражи, блевотина на теплотрассах — дешево и сердито.

Лика мягко шлепнула актера по коленке:

— Перестань, она же не здесь рожать будет, какая разница, где зачать... Ты вот сам знаешь, где это было у твоих родителей?

Арсений хрустнул костяшками пальцев и потянулся:

— Маму неудобно было как-то спрашивать... отца я, сама знаешь, не видел никогда, он нас бросил сразу после родов... но учитывая наш обычный мещанский быт, догадаться нетрудно: в том же поселке, где и вырос — больше чем уверен... Пятиэтажный дом перед пшеничным полем стоял, только дорога отделяла от него и гнилой забор, а на другой стороне поля, почти на горизонте, росли три высокие березы... Все детство эти деревья разжигали мое воображение — чувствовал там некую тайну... Лет в двенадцать впервые туда решил пойти целенаправленно, чтобы разобраться...

Девушка спокойно посмотрела на актера широко раскрытыми глазами:

— И что же там оказалось?

Орловский усмехнулся:

— Огромный карьер, заваленный мусором, обычная свалка: ржавые велосипеды, картофельные очистки, полиэтилен, старые башмаки, отсыревший картон... Березы росли на самом краю перед спуском, а корни торчали из обвалившегося края, как выброшенные на берег осьминоги... Наверное, так всегда: самое таинственное и захватывающее, что есть в жизни, — это именно такие вот загадочные красавицы-березы на краю свалки, о которой мы долгое время даже не подозреваем...

Арсений презрительно огляделся:

— Убогое место, — покосившись на заваленную бутылками скамейку, представил, что на ней происходит вечерами. — Грязные подъезды с замызганными потолками... с черными пятнами от приклеенных на плевок спичек... рыхлые скамеечки — хрестоматийные образы... Спорим, если зайти вот в тот заброшенный дом, под ногами хрустят шприцы?

Лика покосилась на обгорелое, полуразвалившееся здание с осыпавшейся белой штукатуркой и пробитой деревянной крышей. На некоторых окнах стояли ржавые, наполовину выдернутые решетки. Попадающиеся на обочине аборигены с никотиновыми лицами мелькали в окне черными куртками и недоброжелательными взглядами, жалили крапивой, с презрением обнюхивая незнакомую иномарку.

Машина подъехала к пятиэтажному зданию с желтоватым фасадом и остановилась. Лика сняла ремень безопасности и посмотрела на стрелку бензобака:

— Приехали, папаша. Можешь катапультироваться.

Орловский усмехнулся, качнул головой, молча вышел из автомобиля, а потом заглянул обратно в окно:

— Какой номер-то?

— Я провожу.

Ручник звонко крикнул, двигатель заглох.

Они вошли в обшарпанное фойе, похожее на общественную баню. У стены сидели два приبلудных алкаша, а в застекленной кабинке — полная изношенная дама с нарисованным лицом. Яркая косметика пыталась компенсировать нехватку индивидуальных и половых признаков.

Лика оперлась руками на липкую столешницу и склонилась к окошку:

— Здравствуйте, у нас триста десятый номер на сутки забронирован.

— Фамилия? — в глазах дамы, с интересом рассматривающих пару, слишком явно читались ее мысли: Лика видела, что сейчас ее представляют раздетой, лежащей под Арсением с раздвинутыми ногами. Дамочка, похожая на буфетчицу, похотливо смотрела на молодую пару.

— Кумарова, — смущенная девушка протянула паспорт, но нарисованное лицо за стеклом отрицательно качнулось.

— Не надо тут паспортов... вот ваши ключи, третий этаж, — колбасные пальцы, усыпанные дешевыми блестящими кольцами с фальшивыми камнями, протянули серебристый ключ с деревянной биркой.

Лика сжала его двумя пальцами и поймала завистливый взгляд, брошенный на ее изумруд. Пока шли к лестнице, спиной чувствовали глаза алкашей и размалеванной толстушки.

Арсений брезгливо смотрел на старые, потертые поручни и рыхлые ступеньки. Все напоминало ему не то психоневрологический, не то туберкулезный диспансер. По глазам Лики было видно, что она также жалеет о неудачно выбранном месте, но искать другую гостиницу уже поздно.

Лика вставила алюминиевый ключ в замок и забренчала биркой. Медная ручка опустилась, и дверь открылась. Орловский скинул с себя куртку, повесил ее на крючок, после чего вошел в комнату:

— Спорим, если перевернуть любой предмет здесь, снизу увидишь обоссанного вида наклейку с ценником: «5 руб» или «3 коп», — он поднял стул и перевернул его вверх ножками. — О, так и есть, говорю же, — ткнул пальцем в желтую квадратную бумажку, приклеенную к обратной стороне сиденья.

Лика улыбнулась:

— Ну что, я пошла за Л... За подругой...

Орловский оживился и поставил стул на место:

— Ага, подругу значит тоже на «л» зовут? Чуть не проговорились, — не удержался и засмеялся. — Ну хоть одну букву ее имени буду знать, уже легче... Честь будущего ребенка спасена, — поймав на себе недовольный взгляд Лики, отмахнулся. — Да все нормально, забудь... пытаюсь шутить, чтобы как-то сгладить нелепость ситуации... Иди, конечно, а я пока территорию здесь помечу.

Лика спустилась в фойе, игнорируя вопросительный взгляд «буфетчицы», которая, судя по выражению лица, подумала, что девушка забыла презервативы. Лика вышла из гостиницы и, обогнув ее с другой стороны, подошла к черному «вольво». Оконное стекло при ее появлении сразу опустилось. Из машины высунулся коротко стриженный мужчина — в эту минуту он походил на огромного пса с отрубленным хвостом и опущенными ушами.

— Ну что? — хриплый от долгого молчания голос, хмурое лицо.

— Все, он ждет.

— Подождет, сука...

Лиля придвинулась к супругу:

— Серёж, мы же договорились... не надо этой агрессии...

Мужчина отрешенно смотрел перед собой. После того как узнал, что не сможет подарить жене ребенка, он был уверен: Лиля разведется с ним, но она начала искать другие пути решения проблемы, и это усилило стыд Сергея, чувствовавшего себя совершенно беспомощным. Сейчас, когда повернулся к жене, Лиля сначала спрятала глаза, но потом, будто опомнившись, схватила его руку, собираясь что-то сказать, но одернула себя. Сергей прижал жену к себе и крепко обнял, как если бы отвечал на произнесенное вслух — не то на робкий вопрос, так и не заданный, не то на оправдание. Поцеловал в лоб и в веки.

— Иди давай. Все нормально...

Чувствуя на спине взгляд мужа, Лиля вышла из машины, пересекла двор и оказалась перед входом в гостиницу. Ветхое здание, казалось, колебалось подобно миражу, полустертые, почти карандашные линии его очертаний мерцали с подчеркнутой зыбкостью. Лиля вошла в гостиницу, в фойе отрывисто сказала, что ее ждут в номере. «Буфетчица» смотрела на очередную девушку выпученными глазами — пыталась понять, что происходит в триста десятом. Лиля равнодушно скользнула взглядом по испитым физиономиям алкашей и направилась к лестнице.

Когда Лиля постучала в дверь номера, Орловский вскочил с кровати, немного замешкался, потом быстрым шагом рванул в прихожую по облыселому, избитому каблуками ковру и открыл.

Ударились взглядами. Стало неловко. Смутились. Оба отвели глаза.

Сначала ей показалось, что на фото Орловский совершенно другой, поэтому решила на всякий случай уточнить, действительно ли перед ней Арсений, но по смущенному лицу актера поняла, что не ошиблась.

Тягостное молчание нарушил Орловский:

— Здравствуй...те... я ждал, проходите.

Девушка кивнула и шагнула в номер, шибануло чужим запахом чужого помещения, она потупилась, глядя себе под ноги:

— Добрый... день.

Дверь захлопнулась. Еще раз мельком изучили друг друга.

— Давайте помогу снять пальто.

Лиля осторожно отдернула плечо.

— Не нужно... Я сама.

Отстраняющий жест кольнул Орловского, ему стало неприятно, что от него отшатнулись. На мгновение он даже решил плюнуть на договоренность и уйти не говоря ни слова, но внимательнее посмотрев на эту женщину, похожую на настороженное красивое животное, понял, в каком состоянии она находится и с какими усилиями ей дался этот шаг.

Сели напротив друг друга. Лиля — на стул, актер — на заправленную кровать. Посмотрели друг на друга в упор: глаза в глаза. Пыльная занавеска резала и просеивала солнечный свет.

— Может быть, выпить... — сорвалось по привычке, — то есть... вы хотите пить? У меня в сумке есть сок, — актер привстал с кровати.

— Нет, благодарю, — Лиля выставила перед собой ладонь, а потом, как будто вспомнив что-то важное, встала со стула и деловито направилась в ванную комнату, не глядя, по-хозяйски уверенно нащупала рукой незнакомый выключатель: свет загорелся, она вымыла руки и обрызгала лицо ледяной водой. Причесала сбившиеся волосы.

Арсений ей очень понравился. В жизни он оказался намного интереснее, чем на

фото. Внимательно посмотрела на себя в зеркало: пухлые губы, удивленные голубые глаза. Девушка привела русые волосы в порядок, вернулась в комнату и снова села на стул, который неловко скрипнул.

Минуту сидели молча, не зная, что сказать.

Желая хоть как-то сблизить дистанцию, Орловский заикнулся об имени:

— Меня зовут...

Девушка выставила руку перед собой, как бы останавливая Арсения.

— Это лишнее. Имена и поцелуи нам не понадобятся.

— Ах да, вы правы... Безымянное, но очень плодотворное знакомство, — скрестив руки, Орловский усмехнулся.

Снова тягучее молчание. Лиля резко встала, положила сумочку на пол и, повернувшись к Арсению спиной, расстегнула несколько пуговиц на своей рубашке, после чего стянула ее с себя. Орловский отвел глаза — он не испытывал влечения к этой женщине, мало того, не видел желания и в ее глазах. Близость при таком обоюдном холоде казался не менее противоестественной, чем секс со столом или самкой антилопы.

Актер поднялся с кровати, скользнул взглядом по обнаженной спине с белой застежкой бюстгалтера — такой же пластмассовой и холодной, какой казалась ему сейчас вся спина. Орловский зацепился взглядом за крупную родинку между лопаток, потом снова отвел глаза к окну. Лиля ждала, что он подойдет к ней, но Арсений стоял без движения: она не ощущала его возбужденного мужского присутствия — пронзительных и нетерпеливых игл алчущего вторжения. На секунду Лиле показалось, что она в комнате одна — в огромной, ледяной и пустынной комнате, где ей очень одиноко и страшно. Оглянулась поверх бледного плеча с вопросительным безмолвным упреком в глазах, терпкая желтизна ее кожи напомнила Орловскому полотна Эндрю Уайета. Она повернулась к нему и в несколько шагов оказалась рядом, взяла равнодушную мужскую руку, сжатую в тяжелый кулак.

— Я прошу... Да, это все глупо и странно, но я прошу... подарите нам с мужем... мы оба слишком долго ждали его, поймите, — после сказанного она поднесла к губам раскрывшийся цветком кулак Орловского и поцеловала. Мужская рука стала податливой и легкой, как хлопок, широкая ладонь сделалась горячей, в пальцах сгустилось зудящее электричество.

Арс подошел еще ближе, обнял плечи, кончиками пальцев спустился по изгибу спины до самого копчика.

— В какой вы хотите... Как вам будет комфортнее?

От нелепого вопроса Лиля смутилась еще сильнее, опустила глаза, а потом равнодушно глянула в окно:

— Я не знаю... Все равно.

Арсений обхватил девушку за талию и медленно развернул к себе. Расстегнул застежку и начал стягивать бюстгалтер. Лиля мягко и очень осторожно отстранила его руку и отошла на несколько шагов:

— Я сама...

Пока она скидывала одежду на стул, Арсений расправил кровать. Боковым зрением увидел, как свалилась стянутая юбка и колготки. Осталась в одних трусах. Стояла, скрестив руки, закрыв обнаженную грудь.

Орловский приподнял одеяло и сделал пригласительный жест:

— Идите сюда, ложитесь.

Лиля послушно шагнула в кровать и укрылась до подбородка. Под одеялом стало комфортнее: до этого чувствовала себя не то пациенткой, не то проституткой. Арсений расстегнул ремень, снял с себя свитер и брюки. Сел на край кровати, стянул носки и трусы, потом залез к Лиле под одеяло. Провел ладонью по нежной, почти детской коже. Прижался. Почувствовал, что она дрожит. Посмотрел на обветренные губы,

которые почему-то неожиданно захотелось поцеловать, но он сдержался и прикоснулся губами к плечу. Лиля деликатно выставила руку.

— Не нужно, не целуй... совсем... прошу, — прошептала, уперлась хрупкой рукой в Орловского.

— Ты же не велотренажер, в конце концов...

Лиля улыбнулась:

— Лиля не преувеличивала насчет юмора.

Девушка ощутила запах непривычного дезодоранта, который первоначально смутил ее. Прижавшись к телу ближе, почувствовала запах пота — его оттенки напомнили Лиле ее собственный запах.

— Лежу в постели с женщиной, а она мой юмор нахваливает — страшное дело, так и до пенсии недалеко... не получилось, поохотали и баиньки... это же, по-моему, из какого-то анекдота?

Лиля обнажила белые зубы:

— А кто тебе сказал, что в постели только сексом занимаются? В постелях происходит все самое важное — в постелях и до знакомства — в нас самих, то есть... все остальное идет по инерции.

Арсений усмехнулся:

— В постели можно в «Монополию» еще играть или картошку хранить... Молилась ли ты на ночь, Дездемона?

Лиля улыбнулась — очень открыто и естественно. Пахнуло зубной пастой, влажные губы заблестели. Актер рассматривал в упор ее губы, щеки, родинки. Запах теплого женского тела начинал волновать. Все с большим вниманием Арсений всматривался в глаза. Лиля почувствовала на себе эту неожиданную пронзительность, несколько насторожилась: перестала шевелиться. Особенно ее удивило, что в ответ на это разгорающееся влечение со стороны незнакомого мужчины внутри самой Лили отзывается нечто похожее — очень отдаленно и смутно, но все-таки неоспоримо: девушку начинали волновать рельефные руки и широкие плечи Арсения, его задумчивые глаза, небритый подбородок; не столько мыслью, сколько инстинктивной искрой промелькнуло желание, чтобы он оказался внутри. Лобком ощутила, как внизу сквозь белье в нее упирается, нетерпеливо втискивается распаленная мужская энергия, затвердевшая в пульсирующем сплетении мышц и сухожилий.

Перед глазами появился Сергей, стало стыдно — только сейчас ощутила, что изменяет мужу — после того, как начала испытывать возбуждение. Если бы все сделали механически, этого ощущения бы не возникло.

Зря начала говорить с ним... и улыбаться... подпустила.

Орловский прижал к себе сильнее, обхватил губами каштановый сосок. Провел ладонью по спине, опустил руки ниже и сильно сжал ягодицы, потом стянул трусы и раздвинул ноги... Месячное воздержание дало о себе знать: Арсений кончил почти сразу. Девушка обхватила его ногами.

— Подожди, не выходи... Чтобы наверняка. Сколько у тебя уже не было? — ее глаза сверкали в темноте: внимательные, неисчерпаемые.

— Месяца полтора назад, а потом, как договорились, я сперму и кровь только на анализы сдал... ни к кому не притрагивался больше...

Лиля улыбнулась:

— Теперь можешь ни в чем себе не отказывать, — благодарно провела ладонью по его щеке.

Арсений поморщился.

— Не хочу...

Удивленно приподнятая женская бровь.

— Почему?

— Просто не хочу больше всего этого...

Лиля почти не моргала.

— Чего?

— Это неважно...

Провела рукой по щеке актера. Он лежал рядом — бугристый, широкий и теплый, как конский круп. Волосатая грудь и огромные ступни ног с кривыми шишковатыми пальцами делали его похожим на большое сытое животное, которое пытается отдышаться.

— Ты даже не представляешь, как много дал нам с мужем этим...

Орловский промолчал. В эту минуту ему показалось, что он слишком переигрывает. Из-за тоскующей задумчивости, которая проглядывала сейчас в его глазах, и без того излишняя мелодраматичность сцены доходила до приторности,

*Странно, что Дивиль не делает мне замечания.*

В неубедительных декорациях артист всегда играет неубедительно. Даже настоящему хорошая игра воспринимается как фальшивая. Арсений окинул взглядом дешевый номер с претензией на три звезды — окружающая обстановка показалась ему слишком плохими декорациями.

Лиля положила руку ему на живот и тихонько оттолкнула.

— Все, теперь выходи...

Поднялась с кровати и шлепнула босыми ногами об пол. Арсений смотрел на стену, повернувшись спиной. Боковым зрением увидел, как она провела рукой между ног, а потом подставила палец к носу.

*Зачем она нюхает мою сперму?*

Скрипнула дверь, в ванной зашумела вода.

Услышал за спиной шаги и шуршание одежды, повернулся к ней. Лиля торопливо одевалась, а Арсений молча смотрел на нее. Встряхнула волосы, накинула сумочку на плечо. Кокетливо усмехнулась:

— Ну? Жизнь прекрасна, осеменительный ты мой друг... Чегой-ты приуныл, кавалер?

Подбежала к кровати, как радостная девчонка с портфелем, и громко чмокнула Арсения, лежащего среди подушек.

— Благодарю тебя... Надеюсь, скоро найдешь своего человека и подаришь ребенка уже себе... Прощай, амиго.

Провела ладонью по голове. Бросила на Орловского прощальный взгляд. Входная дверь скрипнула и сразу захлопнулась. Арсений лежал в тишине, смотрел на кусок отслоившихся выцветших зеленых обоев, на пыльный деревянный подоконник за пожелтевшим тюлем с прожженными сигаретами лунками, на большой палец своей босой ноги, к которой прилипли какие-то крошки.

Лиля села в машину, осторожно прикрыла дверь — даже слишком мягко, так что она захлопнулась не с первого раза. Сидела рядом, бросила на мужа протяжный взгляд. Почти принюхивалась к нему. Сергей уставился перед собой. Она увидела, что глаза у него красные. В машине было дымно от сигарет.

Губы мужа наконец зашевелились:

— Ну, как прошло? — голос скрипнул, робко прошелестел.

Лиле хотелось взять его за руку, но она боялась, что он отдернет ее, мало того, она сама чувствовала, что после близости с Арсением нельзя вот так вот сразу, как ни в чем не бывало, снова ласкать любимого человека. Нужно какое-то время, чтобы смыть с себя прикосновения другого мужчины.

— Честно? Как будто у плохого гинеколога побывала.

Сергей сардонически усмехнулся, а Лиля взяла себя в руки и направила все мысли на еще не существующего, но уже живого ребенка.

— Теперь не надо курить в машине, дорогой. Надеюсь, что через девять месяцев нас будет трое.

Сергей открыл окна и двери. Начал проветривать.

— Прости, совсем забыл... Ну и как он вообще? Что за человек? Как мужик... просто, сам по себе, че за тип? — взлохматил темные жесткие волосы, похожие на чешую, почесал колючий подбородок. Наконец повернул к жене свое землистое и упругое лицо.

Лиля пожала плечами.

— Обычный... Серьезно. Неинтересен совершенно.

Через десять минут они уже мчались по трассе. Сергея не покидали мысли о том, что сейчас в его жене сперма чужого мужчины — стекающие на белье следы посторонней жизни. Лиля же, чувствуя в себе теплую вязкую жидкость, похожую на не застывший еще цемент, ощущала этот завязавшийся в ней узел из мужской силы. Впитываемая ее телом влага давала чувство удовлетворения, Лиля думала о том же самом, что и муж, но несколько иначе.

*Он особенный... от него родится чудесный малыш, я уверена.*

#### Явление IV

Ли́ка долго ворочалась в постели — все же уснула. Буквально через час ее разбудил странный шум: где-то внизу за стенкой слышались треск и дребезг, скрип терзаемой мебели, грохот падающих предметов, удары о стену — в квартире на нижнем этаже урчало, как в брюхе, клокотало, потом окно соседа выплюнуло себя наружу стеклянным крошечком, Ночь наполнил глухой, сдавленный выкрик. Расколотое стекло вывалилось наружу, царапая подоконники нижних квартир мелкими коготками.

Ли́ка накинула халат и выбежала на балкон.

«Опять этот сатанист снизу!» С соседнего балкона, как из звериной клетки, рвался захлебывающийся хрип-сипение. «Господи, режут там его, что ли?!»

В окне странного соседа промелькнула спина, Ли́ка видела: парень чуть было не сорвался вниз, но торопливо вернулся в квартиру. Через минуту раздался нервный стук молотка, потом все резко стихло.

Утром спускалась по лестнице. Лифт опять не работал — снова кто-то застрял, снова кто-то что-то куда-то засунул, что-то открутил, поджег, выковырял: *не подъезд, а настоящее свинство*. На лифтовой двери висел приклеенный прямоугольник бумаги, исписанный нервным почерком:

*В лифту обосранные кнопки. Осторожно.*

*Он иногда открывается и не едит.*

На площадке этажом ниже скопились люди. Ли́ка замедлила шаг: спасатель вскрывал соседские двери электропилой — искры сыпались, слепили глаза. Рядом топтались еще несколько человек: молодой помятый участковый прислонился спиной к исписанной маркером казенно-зеленой, местами облупленной стене; смазливая санитарка закрыла глаза рукой и отвернулась от чавкающей двери; взвинченный врач-брюзга морщился не то на дым своей сигареты, прилипшей к губе, не то на летящую от болгарки огненно-стальную россыпь. Вокруг суетилась взволнованная женщина, теревшая связку ключей, — хозяйка квартиры. Она вежливо кивнула Ли́ке, та в свою очередь ответила тем же и прошла мимо. С усмешкой глянула на схватку с дверью, но задерживаться и расспрашивать о том, что случилось, не стала — не было ни

малейшего желания, хотя вчерашние крики до сих пор стояли в ушах. Ли́ка почти спустилась на следующий этаж, когда над ней раздался незнакомый голос:

— Девушка, будьте добры. Вы не сильно торопитесь?

Остановилась, повернулась: на нее смотрел востренькими, прищуренными глазами смазливый участковый, похожий на оберштурмбаннфюрера Адольфа Эйхмана, только с прыщавым лбом. В костлявой фигуре мужчины было что-то от вяленой щуки.

— А в чем, собс-но, дело?

— В качестве понятой нужны... мы шас уже двери вскроем... вы ж соседка, как я помаю, мож слышали... видели чего-нидь странное седня ночью?

Ли́ка посмотрела на золотой циферблат с игольчатыми стрелками — до начала работы оставалось полтора часа. Времени предостаточно, правда, придется отложить поход в налоговую на следующий день — сегодня уже не успеет.

Развернулась и в несколько широких, цокающих каблучком шагов оказалась у дверей. Встала за спиной медсестры.

Черный диск болгарки снова лизнул сталь, погрузившись в закупоренную консервную банку входной двери. Багряные искры плюнули в стеклянное забрало шлема спасателя и посыпались на его стоптанные пыльные берцы.

Наконец болгарка разрежала шпингалет и пальцы замка. Сталь поддалась, уступила, заскрежетала. Дверь распахнулась. Все стоявшие на площадке вытянули головы, впились глазами в проем; спасатель поднял стекло шлема и рукавом отер пот со лба, а врач потушил сигарету и удивленно приподнял бровь — вместо прихожей перед их взглядами белела задняя стенка шкафа, негостеприимно давшая о себе знать белесой изнанкой древесноволокнистой плиты. Востроносый лейтенант почесал розовое ухо и примял бородавочный пучок волосков, торчащих из блестящей ушной раковины:

— Опчки... Хорош экземплярчик. Дальше будут рвы с крокодилами, драть Тулюсю... как же меня все эти кашалоты... пропади они пропадом...

Спасатель приложился ботинком к шкафу. Задняя стенка разлетелась, впустив в себя ногу, но сам шкаф не поддался. Пила снова ощерилась — мелкие опилки, лохмотья, древесная пыль. Услышав грохот разгребаемого завала, с нижнего этажа поднялся еще один спасатель с длинным ломом и большим бордовым шрамом на лице. За ним следом скромно вышагивал интеллигентного вида юноша в курсантской форме академии МЧС. Нежный юноша отличался от матерых коллег молочными щечками и задумчивым взглядом голубых, не замутненных еще суровыми буднями глаз.

Спасатель с ломом подошел к двери.

— Ну что... суицидник?

Напарник с пилой пожал плечами:

— На наркошу не похож...

— На кой ему эти баррикады, сука-урод, надо же было настроить... вот сука-урод.

— Ром, давай без комментариев только... Ты либо помоги, либо лифтерам по жопе надавай иди... нам еще, чувствую, разов по пять надо будет подняться сюда по лестнице...

Рома решил помочь. В четыре руки быстро раскидали завал: шкаф и подпиравший его двуспальный диван. В квартире темно. Первыми вошли спасатели, потом участковый и врач с хозяйкой. Ли́ка протиснулась следом: ничего не могла разобрать из-за темноты, потянулась к выключателю. Спасатель перехватил ее руку.

— Девушка, не торопитесь... что вы, как на первое свидание рветесь... Анатолич, ну? Слышь газ? Сука-урод, не чувствую ни ха... Вроде не. У тебя чуйка острее, ну-ка посопи ноздрей, нюхни.

— Не бойсь, не вонько. Рубай, Ромчик.

Спасатель нажал кнопку, но свет в комнате не загорелся, только в коридоре



щелкнула сиротливая лампочка-желток, а комната осталась во мраке — из-за света в прихожей тьма комнаты сгустилась еще плотнее. Спасатели отодвинули мебель в стороны, включили фонари и прошли в комнату. Хозяйка квартиры почти вприпрыжку подалась за ними. Лика, участковый и медсестра с врачом шагнули следом. Курсант продолжал нерешительно обивать порог, все чего-то высматривал и никак не мог заставить себя продвинуться дальше. На всей квартире лежали следы какого-то больного, истерического беспорядка: разломанные в щепки стулья, разбросанная по полу одежда, слетевшие с петель полки, листы бумаги, консервные банки, ворох белья и расколотый, как арбуз, красный плафон люстры, валяющийся в углу комнаты. Все содержимое шкафов свалено в кучу — обувь, тетради, гипсовые головы, коробки, холсты и книги, распахнувшие мертвые крылья переплетов. Окно было заколочено широкой доской. Хозяйка квартиры даже задыхалась чаще, увидев этот разгром, а чем дальше она проходила, тем интенсивнее охала и хваталась за голову, потом переключилась на мат — сначала обобщенный, несколько сдержанный и чисто риторический, затем более ядреный с переходом на личность жильца. В конце концов она так разошлась, что Лике начало казаться: найдись сейчас в этих завалах «чудак-сатанист» живым, хозяйка его сама же прикончит, забьет связкой ключей до смерти.

Хозяйка подошла к окну и начала дергать доску, пытаясь сорвать гвозди, чтобы впустить свет и свежий воздух, но доска не поддавалась. Она провела ладонью по лакированной поверхности и оглянулась на присутствующих:

— Это ж столешница моя... распоросятил стол, гнида, в ИКЕЕ брала со скидкой, чтоб ему хребет переломило, мракобесу... ну, где это мурло? Товарищ участковый, тарищ доктор, заберите эту тварь к себе надолго, таких надо подальше от нормального общества держ... — монолог хозяйки оборвался, она поначалу даже замерла, потом задрожала, как будто увидела что-то совсем страшное, так что казалось, сейчас упадет в обморок. — Хосподи, это ж... вот же шушера, он мне все обои ухайдакал, отщепенец, а-а-а, что устроил, засеря, а, нет, вы поглядите только, щегол вшивый, святые отцы, гляньте-ка, гляньте... да чтоб я еще хоть раз связалась с этими творческими мудаками... Интелихенция называется... Нет, вы видали, а?! Да это же даже не хулиганство — это же хеноцид чистейший... Я кончусь с вами, — хозяйка всхлипнула и схватилась за сердце. — Два месяца здесь корячилась, ремонт делала, нет это ж надо, а... Да что здесь произошло-то хоть, скажите мне ради всего святого, тварищи?

Спасатель вопросительно глянул на хозяйку квартиры:

— Сколько комнат всего?

— Две, но я с него как за однушку брала по доброте душевной... Вот туда еще, туда... посмотрите сами, я даже боюсь заходить... вот отпетый-то, вот отпетый попался, щегол... это ж надо, а... не делай людям добра, не получишь зла... ну это же нежить, чистая нежить, тварищ участковый, сажайте его, сажайте его быстрее, если он живой, я вас очень прошу... пес-стервятник, как есть, пес...

Спасатели подались к следующим дверям, Лика не отставала от ядовито-ярких полос спасательной униформы и светящихся на спине букв: опиралась рукой о стену и высоко поднимала ноги — была на каблуках и боялась упасть. Лику обогнал небритый затылок полицейского. В другой комнате свет тоже не загорался: бесплодный, холостой щелчок выключателя — лампочка была сбита, под ногами хрустело стекло. Фонари высвечивали пустые бликующие бутылки, комки бумаги, разбросанные повсюду пробитые молотком холсты, сорванную гардину и расквашенную настольную лампу. В центре комнаты — неподвижная человеческая фигура: полуобнаженный художник лежал на полу рядом с перевернутой кроватью.

Участковый поправил фуражку и оглянулся на врача:

— А вот и клиент наш. Медицина, принимай готовенького...

Врач подошел к художнику и проверил пульс. Приподнял веко и осмотрел зрачок, потом обвел глазами присутствующих:

— Да жмурик он, часа четыре уж как...

Спасатели взялись за окна. Захрустели отрываемые доски. В комнату пробились дневной свет и поток ветра.

Лейтенант подошел к Лике, заглянул в лицо:

— Понятая, скажите, пожалуйста, это он? Это ваш сосед? Хозяйка, вы тоже идите сюда, ваш жилец?

Прикованная взглядом к мертвому телу, Лика вглядывалась в бледные руки, заостренное лицо мертвого художника. Магическое, жуткое и одновременно с тем притягательное зрелище. Подошла ближе. Вытянутые костлявые ноги и острые плечи. Ребра и тазовые кости торчали, натягивая кожу, как парусину. Заросшее густой бородой лицо с будто выточенными, заостренными чертами казалось счастливым и умиротворенным.

Лика впервые видела мертвое тело не в гробу, а вот так вот запросто, среди книг и цветочных горшков. У противоположной стены разглядела четыре картины.

По спине и рукам пробежала дрожь. Она не могла оторвать глаз от всей этой сумасбродной, разящей эстетической путаницы. Даже когда Лика все же отвернулась и сделала несколько шагов к двери, она чувствовала присутствие этих картин — в них пульсировала концентрированная энергия, клубок сильнейших эмоций, опалявшая зрителя, хотя, судя по лицу участкового лейтенанта и равнодушному зевку медсестры, восхищение Лики больше здесь никто не разделял. Не говоря уже о хозяйке квартиры, продолжавшей перебирать матерные и не очень матерные эпитеты. Женщина изучала мебель, считала порезы и сколы на стенах, покачивала головой, глядя на обгорелый пол и подоконник балкона. Это общее пренебрежение к картинам еще больше возвеличило работы художника в глазах Лики.

На остальные картины, разбросанные по квартире, Лика смотрела с равнодушием: хоть они и были выполнены с той же тщательностью, но в них не бурлила стихийная мощь.

— Соседка позвонила под утро, часа в четыре. Ее испугал шум. Вы слышали что-нибудь?

Лика долго еще не могла оторвать глаз от картин и не сразу расслышала вопрос участкового. Затем уловила неловкость затянувшейся паузы, повернула голову к полицейскому.

— Простите, что? Не расслышала...

Прыщавый лоб придвинулся ближе. Она почувствовала запах давно нестиранной потной формы.

— Я спрашиваю, ночью слышали что-нибудь? Вы же соседка сверху, как я понял?

Лика кивнула и обхватила свои плечи руками. Ей стало холодно и беспокойно:

— Да, конечно, он орал как резаный... очень испугалась. Потом чуть из окна не выпал. Я как раз на балкон вышла в тот момент, когда он спиной выдавил стекло и почти сорвался на улицу.

— Вы видели кого-то еще? Может быть, крик другого человека?

— Нет, кричал он один, но что-то бессвязное совсем, по-моему, даже без слов, просто вопль... а видеть, кроме его спины и ног — нет, никого и ничего больше не видела... Он странный был. Как-то застала его, когда он сжигал у себя на балконе картины. Я тогда не поняла, что именно, а теперь вижу, что он художник... значит, там картины были.

Тут снова о себе дала знать хозяйка:

— На моем балконе, заметьте, девушка! На моем! Этот хлюзденек сжигал картины на моем балконе!!! Он, значит, насвинячил, у него, видите ли, вдохновение, он, видите ли, с богом беседует, а я плати за него теперь, опять космический ремонт делать... — Лика догадалась, что женщина хотела сказать «косметический», но оговорились. — А я, между прочим, не железная и деньги не печатаю! — неистовая

хозяйка продолжала размахивать связкой ключей, как кадилом, присутствие покойного ее ничуть не смущало, кажется, труп разочаровал ее прежде всего тем, что неизвестно, с кого сейчас трясти деньги за ущерб. Вся надежда была на полицию.

Даже равнодушная медсестра поморщилась и одернула хозяйку, кивнув в сторону умершего:

— Ну что вы, в сам-деле, перестаньте поливать грязью покойника... проявите уважение.

Хозяйка не унималась:

— Уважение... я, между прочим, ваша коллега в прошлом, у меня почти что верхнее медицинское образование, и лучше вашего знаю, что такое уважение к покойному...

— Фармацевт?

— Нет, — хозяйка скукожила лицо, выражая презрение к аптекарскому делу, — я в морге работала половойкой так что повидала этих ваших «покажите уважение» на своем веку дай бог каждому... У нас один санитар был не поверите тоже все к уважению призывал к покойным уважительный черт был а один раз девушку молодую привезли красотка ничего не скажешь грудь ноги от ушей соски шоколадные... волосы длиннющие кожа-персик в общем — будь я мужиком живую бы такую увидела бы умерла бы точно... так этот санитар уважительный чтобы вы думали? Не будь дураком ночью ей попользовался втихушечку перед самым погребением взял смазку и попользовался... все одно закапывать говорит а я может всю жизнь мечтал о такой ну и пушай говорит холодная это дело поправимое он горячей водой ее обмыл там да и того значит смазка — ценная вещь — у меня говорит как живая была брачная ночь вроде бы девственницей даже говорит оказалась... да бывает и после смерти лишаются вот невинности нехитрое же дело хотя все же редкость конечно сейчас молодежь развязная пошла уж школьницы под куст готовы с первым встречным если смазливый и одет хорошо. Ну а санитар-то да вот такой вот фрукт попался ну его сразу поперли понятное дело с работы до суда чуть не дошло сука бывают же экземплярики Россия страна большая но начальство замяло не дай бог родные бы узнали девчушки-то эхэ то-то бы бучу подняли больницы бы всю репутацию напрочь втоптали подумали бы у нас все такие а с меня что взять я женщина открытая да и у мужика-то щас вон оно что даже у живого и то не поднимешь уж вялые все спились-скурились а если мертвый уж подавно никак не поднять висит скукожился и все тут хоть заглядься навидалась я тоже значит в морге-то и спортсмены у меня были Аполлоны как есть и актер даже один попался-красавчик как-то помню санитар напился и я за него обмывала тело рассматривала жалко добро ни за что ни про что пропадает внушительно так лежал между ног как мавзоль прямо или стела только потолще но чтобы вот так вот на покойника лечь это ни в жисть ни в жисть даже если бы поднялось бы у этого мертвого актера чего там это нет уж совсем пресвятая Богородица знаете ли Матронушка не простили бы так что не надо не надо нам про уважение рассказывать я человек практический но это все лирика, — женщина повернулась к лейтенанту. — Тварищ участковый, вам надо найти его родных, надо сообщить им об этом несчастье... Я сама даже готова посодествовать. Позвонить, ежели там, встретиться надо... вещи, может, отдать его... да и по поводу компенсации было бы не лишне тоже узнать, что и как, товарищ милиционер, вы меня слышите?

Участковый проигнорировал вопрос хозяйки. Увидел, что врач начал упаковывать свою сумку, и подошел к нему.

— Ну что, на экспертизу?

Врач достал из нагрудного кармана мятую пачку и, подцепив зубами сигарету, прикурил.

— Регистрируйте уже, но о подозреваемых можете забыть. Сейчас наряд ваших придет, так и скажите все... Сначала, как только увидел, что художник, был уверен —

передоз очередного лунатика... поиск музыки, знаете ли... утраченное вдохновение. Обычная практика... но нет характерного запаха и никаких следов... Думаю, сердце разорвалось. Не знаю, может, инсульт был, хотя у молодых редко... Вскрытие покажет, в общем, но своя смерть, это без сомнений. Налицо слишком сильное истощение.

Лейтенант кивнул:

— Ладно, можете забирать его... Девушка, погодите...

Полицейский подал Лике планшет с протоколом.

— Распишитесь в графе понятого. Все данные, там выше еще несколько строк заполнить нужно.

Лика взяла планшет и вписала паспортные данные.

— Телефончик еще не забудьте оставить.

«Этого еще не хватало! Прыщавый Эйхман-ухажер, как трогательно... такого романтического мента у меня еще не было — рядом с трупом-то, самое то».

Поймав на себе недоуменный взгляд девушки, полицейский смутился:

— Да нет, вы не поняли, в протоколе имею в виду, чтобы в случае чего могли связаться с вами...

— А-а-а...

Лика натянуто улыбнулась, вписала телефон и вернулась к картинам.

## Явление V

Сизиф все смотрел-смотрел, вколачивался взглядом в эти горестные полуприкрытые заводи́ки, фабрики, тюрьмы, министерства, церкви, суды, сортиры, рынки, аптеки, парковки, рестораны, салоны — пылающая топкой расщелина финансового парохода, обслуга цивилизации, ее обнаженное чрево. Достал из кармана спутанные наушники-затычки, затолкал в уши, включил Нила Янга — саундтрек к «Мертвецу» Джармуша...

*Сидишь на толчке, никого не трогаешь, уткнулся спокойно носом в стиральную машинку, локти поставил на коленки и думаешь себе о высоком, значит... покой, тишина, трансцендентальность... а если точнее: переходное состояние из имманентного в трансцендентное... идиллия, словом. Так нет же, даже здесь ведь рекламы и все эти ISO и прочие номера тебя найдут... сверху со стиралки упаковка туалетной бумаги в глаза, читаешь «Срок годности не ограничен» — нет, ну не ху... себе (далее вместо «ху...» читай «хунвейбины»), вот бы мне так... А дальше, значит, мелкий шрифт «Состав 100% целлюлоза. Назначение: для личной гигиены ГОСТ Р 52354-2005»... Когда я буду умирать, после меня останется только похожий набор букв и цифр на шоколадках, презервативах, туалетной бумаге, ведерках с обойным клеем, на тысячах и тысячах сайтах строительных компаний... Квалификация-переквалификация, аттестация, обучение, стандартизация и сертификация ISO, вступление в СРО... Вот для кого пишут это все? Кому они вообще на х... «хунвейбины» нужны? Этикетка продукции должна быть прежде всего информативной для народонаселения... Ну ежу ведь понятно, что для «личной гигиены», а не для «внеличностной», «обезличенной» или «общественной». Зачем эта банальщина и штампы?*

Вязкая, болотистая столица — тряслась, как желе, вздрагивала, не отпускала. Сизиф покачивался в вагоне. Все ехал по кольцу, все смотрел в заляпанное окно. Он был очень озабочен. Лицо выражало напряжение. Сизиф понимал: *нужно торопиться, в сутках только двадцать четыре часа.*

Удовлетворенная и сытая Лена сидела на соседнем сиденье, смотрела «Дом-2» с айфона, который Сизиф ей в конечном счете подарил (потрачено восемьдесят тысяч на какое-то разрекламированное электронное барахло — сердце обливалось кровью, — но пришлось идти на уступки: супруга столько выпила крови из-за этого куска брякающей застекленной стали последней модели, что все-таки выцыганила

его). Но мало ей было айфона, нет же, сегодня ночью опять эта возня... И, блин, у нее месячные же, ну что за жест? Вот могла еще пару дней потерпеть. За такие нечистые дела меня бы в древней Иудее побили камнями. Еще и в ночь на субботу ведь, ужас-ужас. Сизиф чувствовал себя опустошенным и уставшим, сегодня ему приснилось, что у него в квартире живет орангутанг с размазанными розовой помадой губами. Орангутанга приходится постоянно кормить: бешеная обезьяна жрет букеты, коробки конфет и лакает мещанский полусладкий мартини. Под утро зубастая громила откусила Сизифу руку. Хорошо, что это был всего лишь сон... Сизиф уже давно не испытывал влечения к жене, но нет, все-таки сегодняшней ночью Лена после долгих упреков и истерик опять добилась своего: высосала до донышка, а сейчас сидит довольной кошкой и мусолит свой айфон. Мартин Лютер говорил: три раза в неделю, а Розанов писал о том, что совокуплению место, когда внутреннее вино и гений вот-вот поднимется через край бокала... они оба просто не видели мою потолстевшую Лену — счастливые люди. И на пятidineвке не работали... Да Лена моя так их за эти три раза оттрахала бы обоих, одновременно бы умяла, что там и бокал вдребезги, какое уж там вино, и, Господи Иисусе, какой там гений через край... Розанову хорошо рассуждать про бокалы, понятное дело, Сулова — женщина экстраординарная, казаков матом крыла, с красным знаменем бегала, да и после Достоевского она — интересно же — что-то, наверное, рассказывала про Федора Михайловича после секса... а моя что расскажет? Только про «Дом-2», стыдоба... хоть бы книжку какую прочитала, что ли? Господи, и как же мне осточертел этот МЦК — жру себя на нем уроборосом, болтаюсь по кругу, как проститутка... Эхма, скучно живем: то ли дело раньше, при царе-батюшке, вышел на Пасху, поздравляй, хоть первого встречного и христуйся-целуйся, а сейчас скажешь «Воскресе» незнакомому, а тебе с ноги промеж глаз, на, мол, сука, я буддист, а потом с другого бока — бац по ребрам с развороту, на, мол, сука, я индуист, а потом Перуном по яйцам, как шарахнут, держи, мол, сучара, я родновер, а атеист какой-нибудь вежливый просто сделает молчаливые выводы, что ты конченный эфиоп, и брезгливо сощурится... нет, тухло мы живем, братцы... нет в нас прежнего размаха и чистосердечия...

Лена вытащила из кармана Сизифа его телефон, начала листать фотографии, читать сообщения, проверять почту. Сизиф давно свыкся с тем, что его личное пространство было вконец погублено с тех самых пор, как он решился на женитьбу, поэтому сейчас даже не пытался сопротивляться, он только безмолвно, как скот на бойне, поводил своей бессловесной головой, сосредоточенно зажмуривался и пытался вспомнить, есть ли там какой-нибудь компромат или он все успел удалить. В эту секунду Лена резко подняла голову и впиалась хищным взглядом в своего супруга:

— Так, я не пони-и-ила... а это что за блядь в кокошнике? Ты нормальный?! Опять у него телки какие-то на телефоне!

Лена сунула телефон Сизифа ему под нос — именно таким жестом, именно с таким выражением лица хозяева обычно макают котят в их мочу. На фотографии была по пояс изображена красивая белокожая женщина в черном элегантном платье с черными же тесьмами меха на запястьях и шее, с аккуратно уложенными волосами, накрытыми необычным головным убором с вуалью. Карие глаза задумчиво приопущены, нижняя губа чуть выпячена. Руки накрывали одна другую сжатыми пальцами: на безымянном правой руки и на левом мизинце золотые кольца. Широкий красный пояс очерчивал узкую талию. Мраморная кожа отливала бронзовым оттенком.

— Это не блядь, это божественный «Портрет дамы» Рогира ван Дер Вейдена. Станковая живопись эпохи Ренессанс...

— Вот вечно ты всякую херню любишь, а ко мне у тебя слова ласкового не найдется... Весь телефон каким-то говном забит — и ни одной моей фотки...

Лена зевнула, хоть и обиженно, но все же с равнодушным видом, затем впикнула телефон Сизифа обратно в его карман, осознав, что по существу тревога была ложной. Поезд остановился. На «Бульваре Рокоссовского» вошли стадо баранов, две коровы,

одинокая коза, лошадь и гусь. Сизиф посмотрел на животных и удивился тому, что лошадь была не подкована.

*Безобразие, все копыта себе стопчет же... Бедное животное. Ну что за город? На всю столицу ни одного кузнеца.*

Домашний скот расположился рядом с держателем для велосипедов. Бараны терлись друг об друга, потели, громко чавкали и мычали, разбрызгивая вокруг себя густую и вязкую слюну. Лошадь фыркала и лягалась, а корова начала гадить под себя: тучный навоз падал на пол с влажными шлепками, разбрасывая душистые капельки на обувь близстоящих пассажиров. Корова с тоской смотрела в окно и грустила. Коза со скукой дожевывала какое-то объявление, которое, видимо, сорвала где-то на остановке, и время от времени выдавливала из себя теплые горошины: по-домашнему теплый и нежный аромат щипал ноздри и мысленно переносил в деревню. Сизиф ностальгически вздохнул и вспомнил детство.

На следующей остановке вошел высокий худой мужчина — очень благопристойно одетый, может быть, даже слишком благопристойно. Особенно благопристойными были рубашка, застегнутая на все пуговицы, и высоко задранные короткие брюки, обнажавшие волосатые ноги в белых благопристойных носках. Высокий мужчина с аккуратно зализанными волосами и лицом попрошайки двинулся по вагону. Он шагал медленно, вглядываясь в некоторые лица. Иногда он останавливался и задавал пассажиру какой-то вопрос, потом двигался дальше.

*Наверное, чем-то банчит. Чем-то благопристойным.*

Приблизившись, попрошайка поймал Сизифа взглядом и склонился к нему с чрезвычайно интимным и задушевым видом. Правда, разговор получился немногословным:

— Вы верите в Бога?

— Пошел нахер.

— Всего вам доброго.

Сизиф посмотрел в окно и тяжело вздохнул. Он задумался о смысле жизни и духовности.

*Да, да, две вещи: звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас... Это определено так.*

На станции «Белокаменная» вошла теща-поросенок. Сизиф сгруппировался, сжал кулаки и ягодичы, а теща помельтешила перед глазами, что-то потрогала, что-то понюхала и облобызала, что-то бегло оценила на глаз — смертоносным вихрем пронеслась перед Сизифом, Леной и Ванюшей, который устроился у отца на коленях и смотрел в окно, к соседнему ряду сидений, подняла подлокотник кресла и благополучно приземлилась. Спросила какую-то чепуху о здоровье Ванюши, успокоилась, хрюкнула, достала из сумочки книжицу Дарьи Донцовой и стала читать. Запах дерьма почему-то совсем ей не мешал.

В этом году Ванюша пошел в шестой класс. Совсем уже большой мальчик. Сизиф поглаживал сына по головке и трепал по спине, а мальчик все разглядывал виды из окна. В прямоугольном окне все знай себе мельтешили дома, столбы, магазины, какие-то понурые кирпичные будки и внушительные высотки с подсветкой. На очередной станции в вагон завалилось особенно много народу. Запахло свежеспеченными булочками, которые очень органично дополнили запах животноводческого дерьма.

*«Ростокино», наверное, проезжаем, тут вечно что-то выпекают.*

Сынишка дернул Сизифа за рукав, так что пришлось доставать наушники из ушей. Нил Янг исчез.

— Папка, а папк, а почему мы постоянно по кругу ездим?

Сизиф ласково вздохнул и макушку мальчика.

— Потому что земля круглая, сынок...

- Папка, а папк, а когда мы уже приедем?
- Не знаю, сынок, думаю, скоро уже...
- Папка, а папк, а ты много в жизни видел?
- Бееееееееееееееееее...

Стадо баранов недовольно заблеяло. Было видно, что их раздражали частые остановки и бесконечная толкотня. Когда коза дожевала объявление, она начала вторить соседям:

- Меээээеэехехехехэээ...

— Конечно, сынок, в свои сорок семь я и Измайловский кремль повидал, и «Москву-сити», и башню Останкинскую, и стадион «Лужники», да много всего сынок, очень много... всего и не упомнишь. В Москве станций не счесть же.

Теща-поросенок зашуршала какими-то нечистоплотными пакетиками и начала чавкать. Запахло салом и сухомыткой. Лена всплакнула от очередной душераздирающей драмы на ток-шоу, долго и пристально вглядывалась в окно, как будто о чем-то вдруг размыслась, а через пару минут обратилась к мужу:

- Надо Ванюшу в спортивную секцию отдать...
- Да, я тоже об этом сижу думаю...
- Сизиф посмотрел на мальчика.
- Ну что, Ванюш, чем хочешь заниматься? Хоккей, футбол, плавание, каратэ?
- Не знаю, папк, я не думал...
- Так ты подумай...
- Дорогой, так может его в лошадиный спорт отдадим?
- В *конный*!
- Ну да, а я как сказала?
- !!!
- Папа, не отдавай меня в лошадиный спорт — это страшно звучит.
- Не бойся, сынок, не отдам.
- Я не хочу быть лошадыю.
- Мехееееехееее...
- Да говорю же, не отдам, Ванюша... Сиди ты спокойно, не ерзай.
- Мыыууууууууу... Бееееееееее...

— Пора бы уже мальчика на море отвезти, да и дочке моей тоже полезно будет на солнышке полежать, морская вода для кожи хорошо и волос...

— Эбигайло Фёдоровна, кушайте сало свое спокойно, Господь с вами. У вас Донцова, вон, лежит рядом, скучает по вам. Вы вот лучше почитайте — говорят, это для мозгов очень благотворно...

После кратковременного молчания пакетик вновь зашуршал, а чавканье стало еще более интенсивным — Сизиф чувствовал, что Ебигелевна сильно обиделась на его резкость.

- Сизиф, мне на эту зиму шуба нужна...

— Царица Небесная, шуба-то тебе зачем?! Мы с МЦК не вылезаем, в тепле все время сидишь... До работы рукой подать...

- Мыыыууууууууу... хра-хра-гар-гар...

— Мое постоянное пребывание на МЦК — упрек тебе, между прочим. Уважающий себя мужчина давно бы купил супруге приличное авто. И вообще, будь ты нормальным мужиком, не задавал бы таких глупых вопросов... я прежде всего женщина — а мы носим мех не для того, чтобы согреться, а для имиджа... самоидентификация женского начала, проецирование его вовне...

— Хера себе ты заговорила... слов-то где нахваталась таких? Знаешь, я для самоидентификации и проецирования хочу «мустанг» себе купить — ядовито-фрейдистского-фаллически-красного цвета, давай возьмем в ипотеку?

- Ой, какие мы остроумные, ну просто мать моя тарантелла... я умираю прям...

ни черта не понимаешь... и никогда не понимал, дубина... какой же ты все-таки ушлепок, Сизиф... подумать только, и зачем я за тебя замуж пошла...

— А я говорила тебе, дочка: он жмот и неудачник — у него на роже всегда было написано, что он беспросветный лох... я в первую же встречу это поняла и отговаривала тебя долго...

— Эбигайло Фёдоровна, Господь с вами, вот вас не спросили, кушайте сало свое спокойно, говорю же...

Пакетик оскорбленно зашебуршал.

— Лена, ты зубы Ванюше почистила?

— Нет еще, там у сортира очередь в отхожем вагоне... Да и вон стадо баранов, видишь? Весь вагон перегородили, суки. Не пройти — не проехать... Да что ты будешь делать, весь поезд ведь обосрали, свиньи. По уши в говне едем, как табор цыган просто...

— Вот сначала ребенком займись, а потом о шубах мечтай... шла бы лучше в отхожем вагоне очередь пока заняла... Ваня грязный, нечесаный, а ты в «Дом-2» с утра пораньше уставилась, как овца на прилавок с ромашками.

— Послушай, обсос-образина, я тебе когда-нибудь ногтем глаз всковырну точно... в гробу твои претензии видела, слышишь?

— Закрой опахало, мандавошка бешеная, тут Ванюша вообще-то сидит, если ты забыла... следи за языком, курица трахнутая, а то пну по влагалищу...

— Папа, а кто такая мандавошка?

— Меэеэеэехехехехээ...

— Это ругательное слово, не надо его использовать, мальчик.

— Мама, а кто такой обсос-образина?

— Это твой папа...

— Ты обалдела, что ли, шмара? Чему ребенка учишь, шлюха взбалмошная?.. Ванюша, не обращай внимания, это мама так глупо пошутила.

— Папа, а что такое влагалище?

— Это твоя бабушка, сынок.

— Мыыыуууууууу...

— Не трогай, мамутку, паскуда... не смей против нее внука настраивать, нехристь!!!

— Папа, а почему в вагоне так сильно пахнет какашками?

Последний вопрос остался без ответа.

Сизиф впери́лся в розовое, опостылевшее до чертиков ухо отвернувшейся супруги — если бы его кто-то увидел в эту минуту со стороны, то случайному свидетелю могло бы показаться, что Сизиф с трудом сдерживается, чтобы не рвануться и не укунить девушку за ухо — вцепиться в него зубами, как в селедку, и теревить-теревить-теревить, с хрустом почавкивая и мурлыча.

В вагоне пахло сухомыткой, сладкими духами, говном и мешанством. Сизиф смотрел в окно и не понимал, «как», а главное «зачем» он оказался в этом страшном, Богом забытом и вусмерть, что называется, «в три жопы» засранном месте — какая-то обезбоженная круговерть — сплошное недоразумение... Но вот Ванюша покачнулся на коленке и своей драгоценной тяжестью внулсил отцу, что по существу все не так уж и плохо.

Сизиф поцеловал мальчугана в лоб и улыбнулся.

На станции вошла невинная девочка в розовой курточке, все с теми же белыми бантиками в косичках, все с тем же томиком Бориса Виана «Я приду плюнуть на ваши могилы», все та же загадочная улыбка и рукоять ножа из кармана.



## Действие третье

*Московское центральное кольцо. Вагон № 0854*

## Действующие лица

Первый гопник, Доменико. Решительный и быстрый, 27 лет, широкоплечий, низкорослый, почти квадратный. Внушительная махина с кулаками. Лбом можно колоть орехи, а пальцами — гнуть пятаки. В синем пуховике и красной шапке, сдвинутой на макушку, треники с обвисшими коленями и грязноватыми полосками по бокам (актив, провокатор, зачинщик).

Второй гопник, Манфред. Задумчивый флегматик, 29 лет, высокий и худой. Кожаная куртка, достаточно опрятные зеленые спортивные штаны (пассив, более пригожий, чем первый, вычищенные до блеска остроносые туфли, в руках свернутая в трубку газета, которая выдает пытливость ума и природную любознательность).

Первый полицейский-законник, сержант, невыспавшийся, плаксивый голос, красивая меланхолия в глазах, пыль на погонах, запах изо рта.

Второй полицейский-плохих, товарищ капитан, любитель взяток, жизнерадостное и сластолюбивое лицо, дышит полной грудью, блестящая бляха, бархатный голос, пуговицы в ряд.

Сизиф, просто Сизиф, 63 года, сутулые плечи, редкие седые волосы. Отстраненный вид, одышка.

Ванюша, 23 года, выпускник кафедры экологии и природопользования. Сын Сизифа. Здоровый, чуть глуповатый, но цветущий вид.

Света-балаболка, девушка Ванюши, местная дурочка, 21 год.

Теща-поросенок, Ебигелевна (она же Эбигайло Фёдоровна, она же «толстая сука»).

Лена, дочь тещи-поросенка, жена Сизифа. Внушительная женщина сдобных кормов и сидячего образа жизни. Ленивой походкой и тучностью напоминает кастрированного кота.

Машинист поезда.

Уборщица в салатовой манишке.

Нежная девочка в розовой курточке (та, которая с томиком Бориса Виана «Я приду плюнуть на ваши могилы» и с оттопыренным карманом).

Незнакомец.

*Семья Сизифа занимается своими обычными делами: теща-поросенок действует на нервы зятю, читает Донцову и пересчитывает деньги, Лена смотрит в отражение окна, кушает пирожок с картошкой и толстеет. Ванюша щупает за ляжку Свету-балаболку (пока родители не видят), после каждого щипка Света-балаболка дефективно хихикает. Сизиф обреченно смотрит в окно и подводит итог своей жизни, тяжело вздыхает. В вагон входят два гопника.*

Первый гопник

Я в тренажерном зале много занимался

И кулакам хочу разрядку дать...

*(оглядывается назад)*

Манфред, мы, кажется, пришли...

Взгляни, вагон этот свободней — то, что нужно.

Я чувствую, здесь нас добыча ждет всенепременно.

Второй гопник  
О, Доменико, я устал, ну сколько можно по миру скитаться,  
Что есть добро?! И что есть зло?!  
Ничто не вечно под луной...  
Пора бы нам заняться чем-то попристойнее.  
Cogito ergo sum<sup>1</sup>. Все это прах и тлен. И суета.  
Мы плохо кончим. Vita brevis, ars longa<sup>2</sup>.

*(размахивает свернутой в трубку газеткой)*

Я слишком долго вне морали: и больше так не может продолжаться.

*(догоняет первого гопника, входит в вагон)*

Первый гопник  
Свое от жизни надо силой брать.  
Все делятся на волков и овец: реши, кто ты — и действуй...  
А я уж выбор сделал. И внемли мне, мой друг: твои сомненья — слякоть труса.  
Здесь этому не место, брат мой.

*(указывает пальцем на семейство Сизифа)*

Вон, видишь тех лохов, Манфред?  
Пора бы с ними разобраться и взять свое.  
За дело, друг, а промедление подобно смерти!

*(второй гопник бросает беглый взгляд на сидящих)*

Второй гопник  
Но, Доменико, они простые горожане,  
На первый взгляд, обычная семья.  
И нет на них греха перед Всевышним,  
Да и пред нами души их чисты...  
Безнравственное дело ты затеял, чует мое сердце.

Первый гопник  
Я все сказал! Сомненья прочь! К оружию, мой друг, Манфред.  
А речи для придворных дам оставь.  
Пришла пора всем доказать, что ты мужчина...  
Подай мне шпагу.

Второй гопник  
O tempora! O mores!<sup>3</sup>

Первый гопник  
Ну хватит причитать!

---

<sup>1</sup> Мыслю, следовательно, существую (*лат.*).

<sup>2</sup> Жизнь коротка, искусство — вечно (*лат.*).

<sup>3</sup> О времена, о нравы! (*лат.*).

Второй гопник

Dixi et animam salvavi<sup>1</sup>.

Ну хорошо, пусть будет так.

Теперь готов я, Доменико. Идем же, брат мой.

И... Alea est jacta<sup>2</sup>.

Подгнило что-то в Датском королевстве...

*(Гопники идут по вагону, останавливаются между рядов кресел. Сизиф с женой сидят с одной стороны, а Эбигайло, Света-балаболка и Ванюша — с другой. Увидев айфон последней модели в руках Лены, Доменико обращается к супруге Сизифа.)*

Первый гопник

Сударыня, у вас не будет позвонить?

У друга моего инсульт, нам срочно нужен лекарь.

*(Среди членов семейства повисает неловкое, несколько напряженное молчание. Ванюша перестает щипать Свету-балаболку за ляжку, а та в свою очередь перестает дефективно хихикать. Теща-поросенок нервно хрюкает.)*

Л е н а. А по-моему, у вашего друга вполне себе цветущий вид... Стоит, моргает, даже щеки румяные. И вообще, я не привыкла давать свои личные вещи первому встречному...

*(Сизифу, шепотом)*

Дорогой, мне кажется, эти обнаглевшие малолетки хотят нас гопануть... Сделай что-нибудь. Заодно Ванюшу поучи себя вести в таких ситуациях, а то он на своей очкастой кафедре природопользования даже постоять за себя не научился, наверное.

*(Сизиф резко встает и выходит вперед.)*

С и з и ф. Так, молодежь, что за подходы? А ну-ка, давайте-ка идите, куда шли... у нас здесь не телефонная будка. Оставьте свои разводы для школьников, мы не в электричке, да и я не студент уж лет сорок как — одно нажатие кнопки, и вас обоих заметут на раз-два-три... Вы откуда вылезли такие отмороженные?

Второй гопник

Мне кажется, что этот старец прав. Уйдем, мой Доменико!

Средь бела дня подобное затеять... в Москве на МЦК,

Не в электричке где-нибудь у Истры...

Тут камеры кругом, да нас закроют... года на четыре.

*(Первый гопник-актив признает вескость аргументов, поэтому делает неуверенный шаг дальше по вагону, втайне надеясь найти более легкую добычу. Второй гопник-пассив с облегчением выдыхает, радуясь, что все обошлось, но Ебигелевна считает, что ей нужно вставить свое слово — она просто не может промолчать.)*

Т е щ а-п о р о с е н о к. Не надо мямлить, зятек, и нечего ментов дергать по пустякам, лучше сразу бей по яйцам этих гондонов! Сначала здорового вырубай, а дрищ сам убежит... да будь я мужиком, я бы показала сейчас этим кочерыжкам! Пора бы уже проучить шантрапу... А то расплодилось выроdkов — матери-шлюхи нарожали...

<sup>1</sup> Я сказал это и этим спас свою душу (лат.).

<sup>2</sup> Жребий брошен (лат.).

безобразия, ишь че, повадились ведь на чужие деньги, шмакодявки. Ломать — не строить, шантрапа. Бей их, Сизифушка!

*(Ситуация накаляется. Сделав несколько шагов, гопники резко останавливаются, как бы в раздумье.)*

Второй гопник

*(пристально смотрит на своего спутника)*

Я думаю, нам следует пролить здесь кровь, мой Доменико.

Пришла пора: задета наша честь и имя наших матерей.

Теперь уж это так нельзя оставить.

Ave, morituri te salutant<sup>1</sup>

Первый гопник

Ты прав, Манфред, настало время кровной мести...

Теперь прислушайся: ты слышишь тишину? Безмолвие пред боем,

Святое, драгоценное мгновение...

Второй гопник

Nostra victoria in concordia<sup>2</sup>.

*(В несколько шагов оба гопника возвращаются к Сизифу и начинают наносить ему телесные повреждения средней тяжести. Ванюша заступает за отца, он вскакивает и наносит Манфреду несколько повреждений легкой тяжести, но затем удачно прыгает на высокого Манфреда и валит его на пол — второй гопник ударяется лицом о подлокотник, разбивает нос и выплевывает два зуба. Увидев кровь Манфреда, Доменико с одного взмаха нокаутирует хрупкого Ванюшу, приложившись кулаком к его нежному лицу. Ванюша падает в кресло, но рвется в бой, пытается пнуть противника, но Доменико ловит его за ботинок и дергает на себя, так что Ванюша распластывается рядом с Манфредом, вскрикнув от сильного растяжения. Взбешенный Сизиф разбивает о голову качка бутылку «Жигулевского», которая стояла у соседних кресел, после чего окровавленный Доменико достает из кармана шило и последовательно наносит Сизифу колотые повреждения тяжелой степени. Сизиф успевает ударить розочкой первого гопника в шею, но почувствовав острие шила, которое вновь и вновь входит в него, разжимает пальцы, горлышко от бутылки валится к его ногам. Сизиф отмахивается от ударов окровавленными руками и беспомощно оседает. Теща-поросенок и Лена визжат на весь вагон, держась за головы, а Доменико продолжает наносить колотые повреждения тяжелой степени, которые в конечном счете приводят к летальному исходу потерпевшего 63-летнего пожилого мужчину в 14:45, по московскому времени, от потери крови и несовместимых с жизнью травм, как установила экспертиза, на станции «Владыкино», как указали несколько случайных свидетелей. Личности преступников были установлены следственным комитетом в тот же день: устроившие в поезде резню маньяки, по предположению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения преступления страдали шизотипическим расстройством, которое ограничивало их способность в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность собственных действий и руководить ими, однако этот факт не исключал их вменяемости.)*

*(Поезд останавливается, раздается шум, новые крики, в проходе появляются фигуры полицейских: блеск кокард, темно-синие кепи.)*

Второй гопник

*(поднимается на ноги, оттирает разбитое в кровь лицо)*

<sup>1</sup> Идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.).

<sup>2</sup> Наша победа в согласии (лат.).

Мой Доменико, какой-то негодяй успел уж вызвать стражу.  
Хватаем сумки, надо делать ноги.

П е р в ы й   г о п н и к  
(выхватывает сумки у тещи-поросенка и у супруги Сизифа)

Готово, мавр сделал свое дело...  
Мы можем уходить.

*(Пока Первый гопник разговаривает со вторым, теща-поросенок пускает в ход перцовый баллончик, который, судя по всему, уже заранее успела достать из сумки. Густое, жгучее облако схватывает лицо Доменико, который отмахивался теперь двумя дамскими сумками.)*

Мой брат, Манфред, я ослеплен!

*(Сын Сизифа приходит в себя, воспользовавшись суматохой, достает из кармана тупой перочинный нож и, не вставая с полу, втыкает его по самую рукоять в бедро ослепленного Доменико.)*

Мой брат, Манфред, я тяжело ранен.  
Нет сил моих идти...

В т о р о й   г о п н и к  
*(Достает из рукава своей кожанки старый молоток с деревянной ручкой и ударяет по голове Ванюшу, Эбигейль Федоровну, Лену, Свету-балаболку — из-под молотка летят густые, клейкие кляксы крови.)*

В а н ю ш а  
(падает)

Т е щ а-п о р о с е н о к  
(падает)

Л е н а  
(падает)

С в е т а-б а л а б о л к а  
(падает)

*(Увидев действия Манфреда, полицейские открывают огонь на поражение. Раздаются хлопки pistolетных выстрелов Первого полицейского-законника: который, прежде чем убить преступников, делает предупредительный выстрел в пол, и Второго полицейского-плохиша, который, прежде чем делать предупредительный выстрел, убивает преступников, после чего выстреливает в потолок.)*

П е р в ы й   г о п н и к  
(падает)

В т о р о й   г о п н и к  
(падает)

*(все падают)*

В а н ю ш а  
(умирает)

Т е щ а-п о р о с е н о к  
(умирает)

Л е н а  
(умирает)

С в е т а-б а л а б о л к а  
(умирает)

С и з и ф  
(умирает)

П е р в ы й г о п н и к  
(умирает)

В т о р о й г о п н и к  
(умирает)

(все умирают)

(Машинист поезда принимает яд и умирает)

(Уборщица в салатовой манишке выпрыгивает из вагона на ходу и кончает с собой)

В эту минуту появляется невинная девочка в розовой курточке. В одной руке она держит томик Бориса Виана «Я приду плюнуть на ваши могилы», в другой — увесистый тесак из дамасской стали. Нежная девочка не спеша подходит к двум полицейским: сначала отрезает голову Второму полицейскому-плохишу, а затем Первому полицейскому-законнику. После того как головы откатываются в сторону, невинная девочка с загадочной улыбкой распарывает униформу полицейских, затем опаляет зажигалкой волосатые животы и начинает потрошить тела, выкладывая кишки и внутренние органы аккуратным кружком. Время от времени нежная девочка оттирает с лобика капельки пота. Когда она завершает свою процедуру, то оттирает тесак об сиреневые колготочки, засовывает тесак в карман и уходит.

Сизиф лежал между кресел, зажимая руками окровавленный живот, сплевывал горячую и клейкую мокроту, смотрел в ребристый потолок на две пыльные лампы рядом с жидкокристаллическим экраном, сквозь липкие кровоподтеки через уголок окна на лазурные проблески закопченного городом неба, уместившиеся в этот стиснутый вагоном оконный край, он смотрел в окружающий мир, как через щель в заборе, как сквозь перепончатые грязные пальцы — чувствовал себя скованным в клетке, уложенным в микроволновой печи — стало душно и тошно, было так мучительно тесно, так обезвожено (обезбожено?), что Сизифу казалось: *умираю сейчас не от потери крови, не от колотых ран, а потому что, потому что...*

Кровь все обильнее шла горлом, пробитыми венами, Сизиф почувствовал сильный холод, затем начал захлебываться...

*И тьма обьяла его.*

*Конец третьего действия*

## Действие четвертое

*Московское центральное кольцо. Вагон №...*

*Обволакивающая беспросветность за окном — распахнутая мгла. Навязчивый скрип, вагон покачивается и вздрагивает, чуть потрескивает, как стиснутый в давилке орех, скользит сморщенным обмылком. Колеса продолжают постукивать о рельсовые стыки, хотя Сизиф вновь не видит за окном ни неба, ни земли — ни единого контура. Один только мрак. Люминесцентная лампа над головой брызжет дребезжащим электричеством, хрипит, вымучивает, плюется шизофреническим светом. Сизиф и какой-то незнакомый мужчина сидят на соседних креслах.*

Н е з н а к о м е ц. Уважаемый (*внимательно оглядывает Сизифа*), а вы почему весь в дырточку? Это кто вас так любезно уколошил?

С и з и ф. Так... (*отмахивается*). Прохожий один... шилом поцарапал. Не берите в голову, пустяки.

Н е з н а к о м е ц. Ясно, ну дело-то житейское, конечно. Да свадьбы, как говорится... Хе-хе (*кашляет в кулачок*). Я вот вообще последние десять лет жизни овощем в кровати пролежал, с ума совсем спятил, срал под себя, а это, знаете ли, неприятно...

С и з и ф. Да, это определенно неприятно...

Н е з н а к о м е ц. Зато щас хоть бы хны. По мне вот, например, видно, что я перед смертью под себя ходил? Подумали бы, не скажи я сам?

С и з и ф. Нет, никогда бы не подумал, у вас очень даже интеллигентный вид. Опрятный такой. И запаха нет совсем.

Н е з н а к о м е ц. Ну вот видите... а я целых десять лет ни «бе», ни «ме», только лежал, глаза в кучу, слюна набок, простынь в говне, если мать с сестрами не поспевали... В общем, ужас, да и только. Не квартира, а кишлак, словом.

С и з и ф. А что с вами случилось?

Н е з н а к о м е ц. Может на «ты» уже перейдем? (*Не дождавшись согласия Сизифа, переходит в одностороннем порядке.*) Вот, представь себе, выхожу я, значит, из своего дома, шагаю преспокойненько по виа Карло Альберто, понимаешь, не трогаю никого, январь, небо ясное, а тут вдруг бац! (*Незнакомец смачно шлепает себя по коленке — этот захватский шлепок по колену напоминает какого-то очень неприятного человека, но Сизиф не может вспомнить, кого именно.*) Смотрю, извозчик лошадь лупит, лицо краснущее, черт пьяный... как с цепи сорвался.

С и з и ф. Ну а тебе-то дело какое? Ну и пес с ней, с лошадей, чего ты?

Н е з н а к о м е ц. Так жалко стало... Истязает бедолагу кнутом... и по бокам, и по глазам, знаешь — ни дать, ни взять, как у Достоевского... я в ту минуту так и подумал сначала, ну в точности ведь, думаю, как у Достоевского картина... а потом уже не до Федора Михайловича, смотрю на это все, сначала с безразличием, так, между прочим, а потом как кольнет, как сожмется все внутри... я даже вскрикнул, за голову схватился и зарыдал на всю улицу... До сих пор не по себе становится, как вспомню...

С и з и ф. Так, а чего ты не помог-то?

Н е з н а к о м е ц. Да в смысле не помог? Я подбежал и обнял ее, чтобы больше не бил...

С и з и ф. Ну а чего с ума-то спятил потом? Все правильно вроде бы сделал. Зря обосрался потом.

Н е з н а к о м е ц. Так я уж не мальчик был тогда по годочкам, жизнь почти прожита, пятый десяток разменял, почитай, а я ведь только и делал, что распинался: сострадание, мол — ни в кукиш вообще, навряд ли мошонки... За проявление слабости...

Всему миру и вещал об этом, заладил кукушкой... а в ту минуту понял: ну, думаю, дело дрянь, батенька... никакая вовсе это и не слабость, а может быть лучшее, на что я... а главное винить-то некого: тоска. Все-таки дрянная штука — жизнь, скажу я тебе, мой русский друг...

С и з и ф. Ну да, я бы тоже после такого под себя срать начал... В любом случае, нервный ты мужик... Эмоциональный. Сектант что ль?

Н е з н а к о м е ц. Нет, философ.

С и з и ф. Как зовут-то?

Н е з н а к о м е ц. Фридрих.

С и з и ф. Меня Сизиф. Так ты немец что ли?

Н е з н а к о м е ц. Ну да.

С и з и ф. Никогда бы не подумал.

Н е з н а к о м е ц. Почему?

С и з и ф. Выговор у тебя какой-то вологодский.

Н е з н а к о м е ц. Ну знаешь, у тебя рожа тоже на русака не тянет, да и имечко под стать...

С и з и ф. Да, есть такое... Бывают в жизни странности, ничего не скажешь.

Н е з н а к о м е ц. Вот и я о том...

*(Сизиф поворачивается к окну в надежде, что пейзаж изменился, но сумеречная пелена стоит все тем же беспросветным занавесом. Разве что мимо поезда пролетают искаженные от ужаса призрачные лица, раскрытые рты, пустые глазницы, немые и сдавленные крики — Сизиф пытается понять, где он находится.)*

С и з и ф. Ты не в курсе, что проезжаем? Судя по видам из окна, вроде в Люберцах... Странно, раньше МЦК там не проходило, только через «Угрешскую», если...

*(Незнакомец не отвечает.)*

С и з и ф. Ты сам-то куда двигаешь вообще?

*(Незнакомец молчит.)*

С и з и ф. За рулем, по-моему, псих какой-то сидит... странно едем, больно уж быстро все мелькает за окном, разогналса, придурок... а может нажрался просто машинист, скотина... без остановок вообще летит, сатаноид...

Н е з н а к о м е ц *(смотрит на Сизифа, то ли понимает, что от любознательного попутчика не отделаться молчанием, то ли считает последний вопрос более существенным)*. За рулем кто? Да пес его знает, кто на этот раз. Саша Македонский, Ахемениды или фюрер какой-нибудь... Может, фараон. А тебе не все равно вообще, ты чего такой взволнованный?

*(Сизиф, услышав странный ответ попутчика, вначале настораживается, но потом понимает, что это у немцев такое специфическое чувство юмора и успокаивается.)*

С и з и ф. Да в принципе, безразлично, да. Как говорил мой дедушка: лишь бы пчоток стоял, а там все разлюли малина...

Н е з н а к о м е ц. Вот и я думаю... правильный у тебя был дедушка...

*(Сизифа на секунду смущает то, что он так легко вспомнил цитату своего деда, но совсем не помнит ни его имени, ни лица. Он вновь боязливо смотрит в окно на*



*отсутствующее небо, на пролетающие мимо мертвые личины с раскрытыми ртами. Мрак и ужас, зубовный скрежет.)*

С и з и ф. Да, погодка что-то с утра не заладилась, туманности какие-то нехорошие... В Люберцах постоянно так (Пауза.) Послушай, Фридрих, а что там за шум в соседнем вагоне? Режут что ли кого?

Н е з н а к о м е ц. Там за власть борются.

С и з и ф. Кто?

Н е з н а к о м е ц. Ой, да все не уймется никак, черти: якобинцы, социалисты, правые-левые, революционеры, партии всякие, да мало ли кто — за место машиниста вечный махач... один с ложкой — семеро с мандавошкой, а бывает наоборот: в любом случае потом к власти приходят и — туши свет, еще хуже становится, чем было... ферштейн, голуба? Я понятно вообще излагаю?

*(Сизиф кивает, этот нелепый разговор начинает все больше его обескураживать, поэтому даже уничижительно-фамильярная «голуба» его совсем не смущает, но вот специфическое немецкое чувство юмора начинает откровенно раздражать. «Какие еще нахрен якобинцы, что он несет? Я ни разу в жизни не встречал в Люберцах никаких якобинцев». Сизиф оглядывается на конец вагона, смотрит на соседние кресла, видит множество людей со стертыми лицами: сидят прямо, не шевелятся, не дышат — белые пятна и рассеянные контуры, похожие на медуз. В этом смысле Фридрих отличается от других пассажиров: его очертания время от времени становятся то эфемерными и неуловимыми, то отчетливой плотью-мякотью, крепнут прямо на глазах. Разглядев других пассажиров, похожих то ли на манекены, то ли на каких-то убогих сукиных детей, с которыми едва ли можно обмолвиться парой слов, Сизиф понимает, что ему повезло с попутчиком, поэтому грех жаловаться.)*

С и з и ф. Слушай, Фридрих, а что в противоположной стороне за звуки? Там, по-моему, кому-то очень хорошо, такие охи-ахи заманчивые... и хохот — жутковатый, но зато отчаянный такой, бойкий.

Н е з н а к о м е ц. Там бордель, рынок, магазинчики всякие... типа вагон ресторан, только побольше... сам понимаешь, в общем. Дедушке бы твоему понравилось.

С и з и ф. Да я и сам бы оценил... хорошее дело... а чего мы здесь сидим, как бедные родственники? Ты все о своей лошади что ли думаешь или за простыни паришься? Слушай, может ну его, махнем давай в соседний и по стакашку?

Н е з н а к о м е ц *(смеется неприятным, каким-то скрипучим смехом: такой звук издают плохо смазанные велосипедные педали)*. Смышсленый ты парень... Если бы можно было между вагонами ходить, стал бы я тут с тобой и дырочками твоими сидеть... Но ты попробуй, дерзай. Встань хотя бы просто, посмотрю на тебя, умника.

*(Сизиф пытается встать, и действительно ноги — как парализованные. Только сейчас он ловит себя на том, что все это время не чувствовал их — мог только вертеться, да смотреть по сторонам.)*

С и з и ф. Да, ты прав, не получается. Я что, типа в чистилище каком-то? *(Сизиф говорит с иронией, по интонации и поведению Фридриха он понимает, что его немецкий друг — сумасшедший, сомнений на этот счет уже не осталось, он тяжело болен, причем наглухо. Сизиф убедился: этот немецкий шизофреник думает, что поезд движется где-то в посмертных пространствах, а Сизиф знал по опыту, что тяжело больных, особенно больных с психическими отклонениями, лучше не злить, им не перечить, и вообще нужно быть душкой, а то воткнул в кадык какую-нибудь одноразовую вилку и поминай как звали. Поэтому, собственно, и решил немного подыграть Фридриху. Тот же факт, что встать действительно не удавалось, Сизиф списывает на усталость.)* Чудно... Надо было

всю жизнь по шлюхам мотаться, сейчас бы ехал как белый человек со всеми удобствами в соседнем вагоне... ну что за говнище? И так, жизнь — не жизнь была, теперь еще здесь... везде одно сплошное жлобство...

*(Когда Сизиф заканчивает фразу, ему в голову приходит неприятная, но очень навязчивая мысль: «Вот суки, понаедут из своей Германии шизофреники какие-то, потом разыгрывай тут перед ними волынку... так и сам свихнусь с этим дебилом. Кто у нас вообще на таможне стоит? Нашли, кого пускать в страну... Безобразие, везде одна сплошная халатность и пренебрежение служебными обязанностями...»)*

Н е з н а к о м е ц. Ну-ну, посмотрел бы я на тебя лет через пятьсот потом... Ты при жизни-то пробовал покобелиться с полгодика? После двадцатой-тридцатой уже тошнит от этого мяса, а тут каждый день... ну его к лешему, знаешь...

С и з и ф. Но все равно как-то скучновато у нас тут с тобой. Олухи какие-то сидят замороженные, не шевелятся даже... за окном Люберцы, и все не проедем никак, одним словом, как на кладбище.

Н е з н а к о м е ц. Да, невесело у нас тут, сам знаю... но я давно здесь, так что попривык.

*(Тут из соседнего вагона появляется фигура: спокойное, красивое и чистое лицо. Сложенные перед собой руки. Человек останавливается между рядами и начинает что-то говорить тем, кто ближе всего сидит, но неподвижные головы почти не реагируют — белеют во вздрагивающем и сиплом люминесцентном свете, отбрасывают рассеянные тени.)*

С и з и ф. А это кто такой шляется? Почему это ему можно по вагонам шастать, а я как буюк тут торчать должен?

Н е з н а к о м е ц. Ему можно.

С и з и ф. А что он там надрывается? Я не слышу вообще, чего он плетет...

Н е з н а к о м е ц. Восьмеричный путь, Четыре Благородные истины... *(Увидев перенапряженность в глазах Сизифа, почти вздувшихся от мыслительного усилия при упоминании этих пяти слов, Фридрих начинает говорить чуть проще.)* Блин, короче, предлагает сойти на одной из станций... ну, чтобы прекратить это бесконечное коловращение. Теперь ферштейн?

С и з и ф. А куда сойти-то? Ты видел эти рожи срррашнючие за окном? Ага, держи карман шире... Еще я в Люберцах не выходил на ночь глядя. Ищи дураков! Ты в России человек новый, у вас в Берлине может и не принято душегубство по ночам, но у нас в стране есть такие места, где, как бы это выразиться-то помягче...

Н е з н а к о м е ц *(не дает Сизифу закончить, перебивает — иногда казалось, что Фридрих либо не слушает Сизифа, либо ему просто безразлично, что бы тот в свою очередь ни нес, поэтому Фридрих если и говорит, то больше как будто для себя, чем для собеседника — наверное, просто, чтобы рассеять скуку).* Я не знаю, это выше моего понимания... Куда-то туда, подальше от этой головомойки... лично меня достало уже мотаться по кругу, как проститутка, но я уже не могу сойти, потому что давно умер... и самое горькое, что осталось после меня одно только заблуждение... я всей своей судьбой как указатель у дороги встал — указатель в направлении, в котором нет ничего, кроме смерти.

*(Сизиф морщится при упоминании о смерти: без сомнения, постепенно он стал привыкать к чудачествам немца, тем более, попутчик сам недвусмысленно дал понять, что является не только сумасшедшим, но еще и засранцем, а самокритика — это всегда хорошо, однако слово «смерть» все равно неприятно кольнуло, да и дырочки от ишла уже давно перестали чесаться, что ничего хорошего не сулило.)*

С и з и ф. Ой, и не говори, не то слово: меня тоже достало... раньше-то у меня хоть виды были нормальные из окна, а теперь какая-то потусторонняя белиберда... И главное, не меняется же ни хрена... А что, еще варианты какие-то есть?

Н е з н а к о м е ц. Да, можно просто не попадать сюда... Вообще все эти медузы, которые с нами сидят, — они еще не умерли, поэтому он и говорит с ними... отсюда и размытость их...

С и з и ф. А, так вот почему ты такой отчетливый? Я даже усы твои вижу и веснушки.

Н е з н а к о м е ц. Говорю же, лошадь увидел, что бьют, и почувствовал...

С и з и ф. На большее значит не хватило? А чего ты там про указатель-то плел? Что имел в виду?

Н е з н а к о м е ц. Нихт. Только чья бы корова мычала... а про указатель... меня с Гитлером связывают просто постоянно, хотя я десять раз этого психопата на головке своей вертел — упираться он мне никуда не упирается, я совсем не то имел в виду в своей философии, но вот поди ж ты... похожая ситуация с религиозными фанатиками, которые все с ног на голову часто ставят и идут вразрез с основами собственных религий... отсюда такая вполне себе разумная реакция Лютера на католический беспредел, на индульгенции, крестовые походы, инквизиции и прочую муру... отсюда и вполне себе резонная критика энциклопедистов: хотя тут сложный момент, ведь критиковать конфессиональную форму и подвергать сомнению факт существования Бога — не одно и то же... в этом смысле Вольтер, например, и Руссо не являются атеистами в полном смысле слова.

*(Через вагон, где сидят Сизиф с Фридрихом, проходит, чеканя шаг, в сторону машиниста Наполеон Бонапарт в белых педерастических лосинах. Похожий на потолстевшую балерину, он лихо вышагивает, прижимая к бедру длинную саблю в ножнах, чтобы она не ударяла по взмокнувшей от напряжения заднице. Холеный, свежесвыбритый, в парадном мундире с молочно-белым, как у пингвина, брюшком и с высоким бордовым воротничком темно-зеленого мундира, он целеустремленно смотрит только вперед. Сизиф молча провожает его глазами.)*

С и з и ф. Мальчик чей-то потерялся. Толстенький. Маму, наверное, ищет... На чем мы там с тобой остановились?

Н е з н а к о м е ц. Я уже не помню... а-а, про выход на станции.

С и з и ф. Так ведь, где попало тоже не выйдешь...

Н е з н а к о м е ц. Да дело не только в этом. Просто взять и выйти — этого недостаточно... Обеззаразить жизнь, избавить от своего присутствия этот тысячелетний клубень из человеческой ярости и шума, алчности — это прекрасно, конечно... оздоравливает мир и историю, и все-такое прочее, но человек способен на большее... На худой конец, всю сексуальную и первобытную энергию, самую тяжелую, то есть телесную, провоцирующую зависть, жажду власти и превосходства, можно замкнуть в своем «Я», в любимом деле или в семье, в какой-то мало-мальской сдержанности интеллигентного и, что самое главное, доброго человека... А вместе с тем и все инертные, животные связи с окружающими... И совсем не обязательно нирванить себя до изнеможения. Я уже не говорю про то, чтобы направить всю свою энергию на любовь к людям — это же бездонная чаша, туда сколько ни положи, все мало будет, но каждая капля — на вес золота.

С и з и ф *(пока Фридрих говорит, он большую часть времени ковыряет обеими руками дырочки от шила)*. А как тогда? В чем вообще разница между этим выходом и, скажем, христианским?

Н е з н а к о м е ц *(постепенно начинает переходить на сухую повествовательную интонацию, чуть закатывает глаза, будто повторяет строки, записанные где-то в его*

памяти). Ты знаешь, голуба, вообще срединный путь на уровне своих основ пересекается с основами христианскими — буддистское истинное воззрение, например, или намерение... сосредоточение, допустим... памятование и все такое прочее хоть и не проговариваются Христом и апостолами, не выделяются в отдельные категории, но они подразумеваются или напрямую вытекают из Нового Завета, да даже в патристике или у схоластов, возьми тоже...

С и з и ф. Э-э-э... Ты знаешь, стыдно признаться, но я после свадьбы вообще мало читать стал — бытовуха, рутина, сам понимаешь, тем более график у меня — пятидневка, гиблая вещь, скажу я тебе... после работы и магазинов уже сил не остается ни на что, какие уж там книги... доползешь вечером до продуктового, пожрать чего купишь и на том спасибо... а в выходные, пока выплывешь и в себя придешь, уже полдня корова языком слизала... так что... но в целом я примерно уловил твою мысль...

Н е з н а к о м е ц. Ты всех уже при жизни затрахал своей пятидневкой, теперь мне еще уши с ней решил прокоптить... завязывай давай, голуба... ферштейн? И не надоест же тебе эта твоя отговорочка, ну сколько можно за график свой держаться и оправдание в нем искать? Тебя палками никто при жизни не загонял на нелюбимую работу, к нелюбимой жене, к серой и мещанской жизни человека, который не реализовал свой духовный и творческий потенциал... Ты же по замыслу Господа был бунтарь, титан — тебе неспроста такое имя дано... ты же, по легенде, перехитрил Танатос, подарив людям бессмертие... ну а что на деле получилось? Не жизнь, а дерьмо.

С и з и ф (задумывается: «Вот, сукин сын, откуда он знает столько подробностей о моей жизни? Какой подозрительный пассажир... Нет, он точно не псих. Может быть, даже и не засранец, а просто прикинулся, чтобы в доверие втереться... Вот школота, а... и че делает, че делает, сучий хвост. Шпионаж сплошной кругом... Ну что за страна? Кругом одни сексоты. Надо с ним ухо остро держать»). Да это не отговорки, я так просо...

Н е з н а к о м е ц. Ага, просо, просо: ячень еще скажи...

С и з и ф. Но ты сам признал, что всю жизнь дурака валял и не о том говорил, о чем надо бы... так что не тебе Гитлера вертеть — значит все-таки дал ему повод... Яблоню по яблокам судят... Не знаю, мне религии всегда были чужды. А на историю посмотреть, так прям тошно периодами... да и недоказуемо это все, нелогично.

Н е з н а к о м е ц. Ну, тошно — не тошно, а все-таки ты здесь сейчас, голуба... Это ферштейн? До тебя, по-моему, все никак это не дойдет.

(Сизифу думается: «Здесь, здесь... где это здесь?» Он смотрит в окно, в котором до этого чернел лишь сгущенный мрак Люберецкого района. Теперь за окном развязалась настоящая баталия: высокие гранатеры и егеря в таких же точно недерастических лосинах, что и недавно прошедший по вагону толстый мальчик, разодетые, как на свадьбу, высокие и красивые, как с картинки, некоторые — наверное, офицеры — даже с прическами; выстроились в ровные квадраты и прямоугольники, и все знай себе шагают теперь с винтовками наперевес — красненькие на синеньких, синенькие на красненьких, смешиваются, валяются друг с другом в кучу, как цветные солдатики по мановению шальной детской руки... Стройные ряды рассеивает картечью, пушки плюются дымом, лошадиники размахивают саблями: белые парадные мундиры заливают кровью. «Странно, — думается Сизифу, — очень странно. В Люберцах такие штаны ни один адекватный человек на себя не напялит, а их вон сколько собралось... на гей-парад тоже не похоже, уж больно кровищи много, даже по российским меркам... может это "Лужники" проезжаем? Точно, это, наверное, спортсмены, либо болельщики. Интересно, кто сейчас играет? Наши опять, наверное, продули, как всегда, вот фанаты и устроили месиво».)

Н е з н а к о м е ц. Проблема еще в том, что большинство христиан во все времена после Константина — это матерые язычники, прикрытые крестами... и язычники эти крещеные заткнули бы за пояс любое племя тех же древних германцев наших... да даже

до Константина, если по посланиям Павла судить, львиную долю первых христиан, по моему, больше волновали вопросы на уровне «обрезываться или не обрезываться», «есть мясо или не есть», чем поиск духовного пути... а при таком чисто обрядовом подходе дальнейшее разделение христианства на множество конфессий было неизбежным следствием... Вообще, я удивляюсь, что первый раскол на Восточную и Западную церковь только в одиннадцатом веке произошел, а не раньше... наверное, к тому времени просто особенно остро назрело политическое и географическое столкновение интересов Востока и Запада...

*(Сизиф видит, как со стороны головного вагона идут два пьяных казака. Один тербит за ухо толстого мальчика в темно-зеленом мундире и педерастических лосинах, давая ему время от времени роскошные поджопники, а второй казак хлещет бедолагу нагайкой. Толстый мальчик в парадном мундире от такой наглости даже потерял свою двуголку, он постоянно оглядывается, пытаясь увидеть свой головной убор, но пьяные казаки рыгают, матерятся и дают лихой нагоняй низкорослому корсиканцу, которого гонят в ту сторону, откуда он пришел, — то есть в хвост поезда. Глядя на избитую в кровь физиономию, на растрепанный парадный мундир, Сизиф думает про себя: «Бедный мальчик, связался же на свою голову».)*

С и з и ф. Да я не в том смысле о нелогичности сказал... я о религии как явлении...

*(Фридрих провожает глазами Наполеона, крутит свой философский ус и оглядывается на Сизифа, который молча слушает и хмурится; видно, что ему надоело слушать.)*

Н е з н а к о м е ц. У кроманьонцев было принято во время погребения укладывать покойного в могилу в позе эмбриона: отдавали земле в том же согнутом положении, в каком человек приходил в мир. Ну это так, к слову. На самом деле, голуба, нужно просто понимать, где в Ветхом Завете начинается история, а где религиозно-мифотворческая культура, которая еще до Христа сформировалась у язычников, многочисленная метафорика и символизм, какая-то общерелигиозная традиция медленно вызревающих пастушьих, кочевых представлений о Всевышнем, а где там начинается сам Бог — опыт богопознания в чистом виде, само Слово, пророчества и откровения, какое-то наитие народа... Ветхозаветные мифологемы, церковные догматы и богослужебные элементы встречаются у язычников задолго до написания Библии... крест — это вообще один из древнейших религиозных символов, в том же древнем Египте или Вавилоне... это нечто предначертанное, постепенно открывающее все слои своих смыслов... А что касается метафорики, Адам — это аллегория вторжения Духа в животный мир... «Адам» по-еврейски значит просто «человек» — это даже не имя собственное... в Книге Бытия написано: «Сотворим Адама по образу и подобию... и да владычествуют *они* над рыбами морскими»... «Они», понимаешь?.. Имеется в виду человечество, люди... Филон Александрийский вообще смотрел на Адама в духе платонизма, то есть считал его общей идеей человека, только не идеальной, а модельной... Августин понимал под Адамом зачаток всего человечества, который от первобытного состояния сделал резкий скачок через очеловечившую его любовь... ну как обезьяна, познавшая откровение и возвысившаяся над собственными инстинктами.

*(Сизифу становится страшно — так много новых слов он еще ни разу не слышал. В любом случае он особенно и не вслушивался, понимая, что хитрожопный немец просто заговаривает ему зубы, а сам при этом только знай себе думает, как бы подсуетиться, чтоб он, Сизиф, попал впросак... Поэтому Сизиф сидит, сгруппировавшись, сжимает кулаки и ягодицы, пристально глядя в лицо Фридриха.)*

С и з и ф. Фридрих, мне кажется или в вагоне пахнет елдаками? Чувствуешь? Припахнуло так малек...

*(Незнакомец широко зевает. В эту минуту по вагону сломя голову проносятся гугеноты, за которыми несутся разъяренные католики с ножами, вилами и факелами. Сначала Сизиф слышит нарастающие с хвоста поезда топот и крики, затем в вагон вламывается огромная толпа, начинается какое-то безумие: изрезанные, искалеченные гугеноты прыгают через спинки кресел, прячутся под сиденьями или виснут на поручнях, пытаясь разбить оконное стекло ногами, они скользят на коровьем и лошадином навозе и падают-падают, отмахиваясь от взмахов алебард и тесаков; насаженные на вилы постепенно холодеют, валяясь на пол согнутыми пополам, обмякшими телами и замирают, глядя в потолок гаснущим взглядом, постепенно отходят. Отрезанные руки и головы шмякаются на пол, кровь заляпывает все окна и стены. На Сизифа сваливаются чья-то ампутированная лодыжка и указательный палец с золотым перстнем. Он вздрагивает от неожиданности и вжимается в кресло. «Безобразие какое... весь поезд запакостили. Просто свинство же». Сизиф облизывает отрезанный палец с перстнем, чтобы кольцо заскользило, стягивает кольцо и аккуратненько насаживает на свой указательный: «Фють... как влитой вошел, сучонок, прям, как здесь и было... красотень...», после чего скидывает с себя чужие части тела и отряхивается, потому что он по природе своей очень брезгливый человек, но кровь все прибывает, сгущается, накапливается в лужах и поднимается все выше, а когда Сизиф оглядывается назад, то видит, что в другом конце вагона кто-то повесил двух старообрядцев, перекинув двойную петлю через поручень и туго спеленав ею две бородатые шеи; у Фридриха на лице появились капельки крови, а к густым усам прилипли кусочки гугенотских мозгов — это постарался какой-то набожный кузнец, который размоzzжил голову одному гугеноту, но хладнокровный немец даже не удосужился отереть себя платком, он сидит как ни в чем не бывало и молчит с каменным лицом.)*

С и з и ф. Надо заканчивать уже нашу богословскую дискуссию... загрузил ты меня вконец... и так черте-че за окном творится, рядом жмурики какие-то сидят, на луковицы похожи, казаки какого-то несчастного мальчика в лосинах выпороли, сидим, сука, как ноздри в жопе, в кровище, да в говне по уши, отрезанные головы по вагону булькаются, старообрядцы на поручнях висят, скоро утонем нахрен... не поезд, а одно сплошное жертвоприношение. Сотри хоть с усов своих мозги гугенотские, Фридя, это в конце концов даже неприлично... я кончусь сейчас с тобой точно, ум за разум зайдет... как был ты циником, так и остался.

*(Сизиф смотрит себе под ноги, по колено погруженные в кровь. Он чувствует себя заточенным в цистерне с кровью, пытается поднять ноги на кресло, но не может оторвать ступни от пола.)*

С и з и ф. Какой ужас... *(Прикрывает окровавленными руками лицо, так что измазывает обе щеки, лоб и подбородок, вспотевшие волосы: «Неужели этот хитрожопный немец все-таки прав? Неужели я на самом деле умер?»)* Тогда объясни мне, почему мы с тобой в одном вагоне оказались? Что это за дребедень вообще со мной происходит? Ты хоть и срал под себя последние годы жизни, овощем лежал, как говоришь, все одно большой эрудит, философ даже, знаменитость... я тебе не чета совсем, а вот поди ж ты, сидим сейчас в одном ряду, будто так и должно быть...

Н е з н а к о м е ц. У тебя типичная мещанская драма...

С и з и ф. Ну да, я и не отрицаю, ты мне Америку сейчас вот вообще не открыл ни разу. Фридя, ты хоть и интеллеktуал, но по существу, такое же точно говно, что и остальные... поэтому не надо умничать, я и так все понимаю... До встречи с женой, помню, еще читал что-то, в театры там ходил иногда, а после нее — все, как отрезало. Бывает же такое. Да и пятидневка, опять же... А сейчас даже имя жены вспомнить не могу, хотя всю жизнь с ней, считай... И чем занимался при жизни, тоже не помню.

*(Сизиф все более истерично ощупывает свою голову, лицо, будто пытается что-то найти, — так шарят по карманам, когда не могут отыскать нечто очень важное.)*

Н е з н а к о м е ц . Послушай меня, свинятина, может, ты уже захлопнешь шептало свое... меня уже тошнит от тебя...

С и з и ф (*обиженно*). А что так?

Н е з н а к о м е ц . Да потому что ты чужую жизнь прожил и не любил никого, кроме себя... хотя, по сути, ты даже в этом не особенно преуспел. Любил бы себя не мошонкой, а другим местом, не прожил бы такую телячью жизнь...

С и з и ф . Я маму свою любил... и сына...

Н е з н а к о м е ц . Ну мать любить — не велика заслуга, знаешь, нашел чем гордиться: если сын не любит мать — это уже какая-то аномалия... а насчет сына это ты погорячился, конечно: ну и как зовут сыночка твоего? Скажи давай, папашка.

С и з и ф (*морщит лоб, чешет подбородок, лицо постепенно удлиняется растерянной гримасой*). Сына? Вот жлобство, не помню тоже, что за скотство? Ни хрена же не помню, как с перепою, сука...

Н е з н а к о м е ц . Во-во, о том и речь. Одной только кровью своей, плотью был к нему привязан, а это не любовь. Собака так же своих щенят облизывает, как ты сына... Но на самом деле между мной и тобой чисто формальная разница. Можно даже сказать, что ее нет совсем... слишком для многих обилие книг становится тем же, чем для других — их отсутствие, а если говорить конкретнее — и то, и другое оборачивается *пустотой*... Я растрепал свою жизнь через интеллектуализм; ты и миллионы таких, как ты — задушили через вакуум мещанства...

*(Сизиф уже давно перестал слушать Фридриха, он смотрит на залитый кровью вагон, его глаза затягивает ленивая, полусонная поволока, а ноздри жжест подступивший голод. Аппетит разыгрался так сильно, дает знать о себе так резко и непреклонно, что Сизиф даже ерзает от нетерпения.)*

Н е з н а к о м е ц . Глупость интеллектуала и сноба разве что более многогранна, скажем так, более насыщена информацией, разными абстрактными категориями или видимостью, чем глупость обывателя, но это одно и то же состояние, которое состоит не из живых, а из смертных дел, гниющих и заразных, как проказа... Глупость интеллектуала — это такая самонадеянная, пустопорожняя сука... а потому она, в силу лоска своего, всегда скрыта, а глупость быдла дика и очевидна. Что самый занюханный Акакий Акакиевич, что самый признанный авторитет науки, политики или искусства — оба на одной чаше весов... И не стоит удивляться тому, что мы в одном вагоне. И я, и ты — мы части единого целого: мы одно и то же. И каждый из нас в каком-то смысле топтался на месте всю жизнь.

*(Мимо Сизифа в кровавом потоке проплывает мясистая нога с волосатой голенью и увесистой ступней... Сизиф косится на отрубленную ногу, следит за ней взглядом, внимательно, как кот. Когда она оказывается совсем близко, вцепляется в нее зубами, как в селедку, и начинает теревить-теревить-теревить, хватая зубами эту гугенотскую свежатинку, хватая без помощи рук: клац-клац — и ампутированная набожными католиками нога оказывается во рту ловкого Сизифа. С хрустом чавкает и мурлычет, и все зная себе жрет с аппетитом гугенотское мясо. Отрывает зубами бордовые волокна, сплевывает хрящички и вытаскивает жирными пальцами застрявшую между зубов совершенно невкусную кожу, покрытую жесткими волосами.)*

Динамик над головой хрюкает, и по вагону разносится злорадный мужской баритон:

— Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны.

Занавес

Конец четвертого действия

## Действие пятое

### *Явление I*

После знакомства в подмосковной гостинице Арс напился вместе с Сарафановым только раз, «отцедив немного лишнего в одну профурсетку», как он выражался, но наутро после вечеринки стало особенно тошно. Актер лежал рядом с обнаженным недоразумением, похожим на расфуфыренную бухгалтершу с претензией на элегантность, пытался вспомнить, как и когда его угораздило пристроиться к этой пылкой даме с волосами, выкрашенными в цвет «древнеримская проститутка», смотрел на разъехавшуюся в стороны грудь с огромными — размером с распахнутую пятерню — сосками, на холеный, но уже одрябший живот, который вздымался от частого дыхания. Все силы Орловского были сейчас направлены на попытку вспомнить, сколько он накануне выпил, чтобы оказаться в объятиях этой размалеванной бабищи, лет пятнадцать назад, вероятно, очень сексуальной и эффектной, но теперь слишком похожей на постаревшую порно-актрису начала нулевых или даже конца девяностых. Натура Арсения требовала чего-то большего — того, что он только недавно начал смутно ощущать, как будто резко сделавшись вместительнее и сложнее, чем был прежде. Орловскому казалось, что он перестал быть собой, будто последние несколько лет он сливается в одно целое с Сарафановым, то есть что это вовсе не его друг, а лишь животная его часть, ненасытное и первобытное естество, какое-то персонифицированное в реальной жизни альтер-эго, вобравшее в себя все самое деструктивное и порочное, что кроется в личности самого Арсения.

Со временем Лика сообщила, что подруга беременна. Только после этой новости актер перестал бояться пустоты собственной квартиры: теперь он чувствовал потребность в одиночестве, тянулся к тишине, как лань тянется к водопою. Актер с усмешкой говорил иногда, что забеременел вместе «с ней» и тоже носит в себе ребенка. Сарафанов не унимался, как будто не хотел отпускать: каждый вечер пытался вытащить Орловского на очередные «культурные мероприятия», провоцировал на «беспорядочный коитус» или «безобидную пенетрацию на полшишечки». Он даже как-то завалился к Арсению домой с губастой проституткой (без предупреждения и с деловым равнодушием, как почтальон). Арсений с трудом отбил ее, даже кинул башмак в щель приоткрытой двери — попал то ли в шлюху, то ли в Сарафанова. Николай покрыл друга добродушным матом и пошел тискать свою спутницу где-то в подъездном полумраке, а потом шастал под окном мартовским котом и горланил какую-то околесицу с коньячной фляжкой в одной руке и с проституткой — в другой.

В свободное от репетиций время Орловский слонялся по улицам, просиживал скамьи в парках и рассматривал молодых мам с колясками. Обращивался на гуляющие семьи. Просыпался каждое утро как-то рвано и торопливо, точно спал на карнизе высотного дома над шумной улицей: казалось, порыв ветра срывает его одеяло с босой ноги и несет вниз к крохотным светофорам, маленьким трамваям, шмыгающим туда-сюда с гудением стрекоз, к похожим на разноцветных тараканов автомобилям, теснившим друг дружку вдоль белой разметки — актер вздрагивал, поджимал ноги, потом хватал телефон, надеясь найти непрочитанное сообщение от Лики, пока в первый понедельник октября наконец не получил от нее: «Она родила. Мальчик, 3856».

Набрал номер, но Лика сбросила. Так повторилось несколько раз, после чего он написал сообщение с вопросом об имени ребенка. Лика ответила только вечером: «Забудь о них! Я же просила!». На следующий день снова пытался дозвониться, но длинные гудки неизменно обдавали холодом и безразличием. Вызвал такси и поехал к ней домой. На дверях подъезда висело объявление:



*«Уважаемые жильцы, суки, отродья, нелюди,  
убедительная просьба закрывать входные двери между этажами,  
лифты боятся сквозняков!  
Жильцы, не внесшие взносы на озеленение прилегающей к дому территории,  
ПОГАСИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!»*

Поднялся на лифте. Несколько раз позвонил — дверь осталась неподвижна: от вида закрытой двери всегда веет чем-то жестоким, холодным и очень одиноким. Тишина подъезда усиливала это ощущение. Арсений чувствовал себя взаперти, в безысходном заключении. Актер гулко пнул дверь ногой, на минуту одиночество и безмолвный холод рассеялись, но вот подъездное эхо стихло, непроницаемая тишина вновь вступила в свои права, она обволакивала и схватывала, как янтарь. Орловский поехал так, словно оказался в склепе. Стал ждать. Простоял в подъезде около двух часов. Запах спертого и пыльного воздуха забил грудь: актер не хотел упустить свою бывшую, поэтому отлучился только один раз, вышел на подъездный балкон, чтобы справить нужду. Внимательно смотрел на струю, на растекающееся под ногами пахучее пятно, с удовольствием ощущая в руке приятную тяжесть своего теплого мужского тела. Застегнул ширинку, вернулся к лифту. С нетерпением прислушивался к его скрипу. От прокуренного воздуха заболела голова.

Пропустил мимо себя несколько сгорбленных пенсионерок с авоськами, пару хозяев с собаками. Наконец дребезжащие двери распахнулись и на площадку вышла Лика — выставила перед собой сумочку и засунула в нее руку, как в чулок. Не могла его видеть — актер стоял у стены. Все никак не удавалось найти ключи, поэтому поставила сумку на поднятое колено и рылась внутри, пока стальная связка не звякнула. Лика вставила ключ в замочную скважину.

— Привет, Лик.

— Мама! — девушка вздрогнула и выронила сумку на пол.

— Скажи спасибо, что с криком не подкрался.

Лика протяжно выдохнула:

— Арс, из ума выжил?! Чуть Богу душу не отдала, придурок!

Орловский подошел ближе и взял за рукав:

— А теперь ответь на вопросик один... скажи, я на мальчика похож? На студентика сраного, нет? В подъезде жду, как школьник... Что за блокада? Почему трубку не берешь?!

Девушка отвела глаза и открыла дверь.

— Не злись, проходи лучше. Поужинаем вместе, заодно и поговорим.

Арсений шагнул в коридор следом за ней и начал раздеваться.

— Я жду ответа на свое сообщение... ну? — дернул Лику за плечо, развернув к себе лицом.

Лика вырвалась и отошла на шаг, метнула недовольный взгляд:

— Не распускай руки... Нашелся тут... просто тебя на поворотах заносит слишком...

— Я ответа жду!

Она вошла в комнату, чтобы переодеться. Арсений давно не был в этой квартире. Когда после случайной их встречи Лика позвала его зайти к ней, он отказался, потому что знал, как сильно влекут к себе тела бывших девушек, воспринимаемые как собственность. Арсений не хотел вязнуть в прошлом. Иногда казалось, что после близости мужчина и женщина не только оставляют друг в друге следы, они сплетаются в общий клубок, вовеки неразделимый и — образованный ДНК, эмоциями, слюной, вибрацией и трением сказанных друг другу слов. Сама квартира — актер чувствовал это — помнила его прикосновения, его запахи и энергию прошлого присутствия,

отпечатанную в этом жилище в те несколько месяцев, что Орловский прожил здесь с Ликой.

— Ты имеешь в виду имя? — Лика высунулась из дверного проема.

— Нет, блядь, номер, серию паспорта и военный билет!!!

— Не бесись, — она обиженно закатила глаза к потолку. — Ярославом назвали, — вновь скрылась в комнате.

Арсений стянул ботинки и прошел на кухню. Привычными движениями, почти с закрытыми глазами достал из шкафа коробку пакетированного чая, крепко заварил, бросив в кружку сразу три пакетика. В квартире и привычках Лики ничего не изменилось. Он знал: открыв холодильник, увидит прямо по курсу много клубничных йогуртов, бекон, соевый соус, сыр с белой плесенью и упаковку рукколы, а в дверке стопку молочного шоколада.

Арсений сел у окна. Уже стемнело. Небо пасмурное. С двенадцатого этажа открывался вид на соседскую крышу девятиэтажного дома: костлявые антенны торчали надгробными крестами деревенского кладбища, чернели на фоне сизого неба, сливаясь с рубероидной шершавостью.

Лика вошла на кухню в белой майке, надетой под красный махровый халат. Начала по-хозяйски хлопотать, выставляя на стол разную мелочь.

— Сейчас я мигом что-нибудь соображу, голодным тебя не отпущу...

Ловким хозяйским движением достала нож, доску, овощи. Открыла холодильник — боковым зрением актер действительно увидел клубничные йогурты, бекон, сыр, рукколу. Продукты начали перебираться на стол, зашумела вода, Лика отерла руки полотенцем, после чего нож застучал по деревянной доске.

— Долго меня ждал?

— Часа два.

Она стояла спиной к актеру, но Арсений понял, как сильно укололи девушку его слова — торопливый стук ножа по доске вдруг резко оборвался, женственная фигура замерла, но не повернулась, не посмотрела, через некоторое время как будто спохватилась и продолжила резать овощи. Прелое чувство ревности ядовитым духом начало расползаться по кухне: актер не ощущал запаха резаных овощей, он вдыхал жестокую горечь самки, которая хочет самоутвердиться, ощутить себя единственной и незаменимой, особенной. Затылок Лики испускал электрические разящие иглы, направленные на Орловского — пульсации ненависти. Когда девушка повернулась с тарелкой салата и поставила ее перед Арсением, ее лицо было непроницаемо и равнодушно. Он попросил:

— Покажи мне его фото...

Лика как-то неуместно пожала плечами и спокойно посмотрела ему в глаза.

— Во-первых, кто тебе сказал, что его собираются фотографировать в ближайшее время? Он еще слишком маленький, а во-вторых, ты вообще наплевал на уговор, да? Я всегда знала тебя как человека, который держит слово...

Арсений опять отвернулся к окну:

— Мать-перемать... Чувствую, без кровопролития не обойдется.

— Перестань, Арс, мы же договаривались! Я понимаю, да, твой ребенок. И ничего не зная... Но ты осознанно шел на это.

— Откуда я знал, что так будет?! Каждый день отцом становлюсь?! «Осознанно»! Зная я не знал, что такая связь с ребенком возникнет: я думал, кончу и все, как обычный трах будет...

Лика выронила из рук ложку.

— Арсюш, остынь. Хорошо, прости, что игнорила звонки, я не должна была так поступать... но я не знала, как еще тебе объяснить, что твое внимание напрягает Лирино мужа... это если о-о-о-чень мягко выражаться, а вообще он в бешенстве из-за твоих звонков... это при том, что он знает только о половине.

— Лилиного? Ее зовут Лиля?

— Тьфу ты, что ты будешь делать... проболталась... Да, Лилей.

Лицо актера стало тихим и немым, как вода, — прозрачным. Он молчал больше минуты, потом постепенно оживился, взгляд снова стал подвижным.

— Лилия и Ярослав... Мне нравится. Послушай, я хочу увидеть его.

— Даже думать забудь, Арс... что ты со мной делаешь? Мы же договорились, тебе деньги заплатили, в конце концов...

Актер резко ткнулся в стол — столкнулся с ним, как сталкиваются две льдины. Покачнувшаяся кружка повалилась и покатилась к краю столешницы, но Лика успела ее поймать.

— Да в жопу мне ваши деньги, хоть сейчас отдам!!!

Арсений достал из-за пазухи пиджака несколько стопок с пятитысячными купюрами и бросил перед собой.

— Перестань! — Лика накрыла купюры сухим полотенцем, как будто прикрывала неприятную ей наготу неприятного человека. — Убери.

Актер не шевелился. Девушка еще немного подождала, затем собрала пачки и положила ему на колени, закутав их все в то же полотенце.

— Хорошо, допустим, ты увидишь его, дальше что? — отошла на шаг, скрестила руки и уставилась в упор.

— Не знаю, — пожав плечами, — сейчас просто хочу его увидеть. Почти весь нынешний год хотел только этого... где-то там развивается новый человечек, мой человечек, отделившийся от меня, а я... да просто увидеть и все. Да и с Лилей нужно поговорить. Мне хоть какая-то логическая законченность во всей этой истории нужна, у меня, наверное, подсознательное ощущение незавершенности... это и взлохматило меня: как лунатик хожу.

Она скрестила руки на груди.

— Да какая здесь может быть законченность? Ты сам-то как это видишь? Поставь себя на место ее мужа... По-моему, тут изначально подразумевался только открытый финал...

— Да я что, украду их у мужа?! Что за детство? Могу я просто по-человечески поговорить с Лилей и повидать ребенка? Хоть на фото.

После вновь затянувшейся паузы Лика с натугой выдавила из себя:

— Хорошо, я поговорю с ней об этом... а теперь давай ужинать... кстати, у меня сосед тут снизу, прикинь, голодом себя заморил насмерть, художник... ты бы видел его картины — это потрясающе просто...

Девушка увидела по лицу актера, что он ее совершенно не слушает, и замолчала. Пока в кастрюле закипали спагетти, нарезала яблоки в большое оранжевое блюдо, а потом достала бутылку вина и подала вместе со штопором Арсению, чтобы он открыл.

Через час, после того как перекусили, Лика ощупала Орловского осторожным вопросом, как мягкой vareжкой:

— Оставайся сегодня... на ночь... а утром я позвоню Лиле и обо всем договорюсь.

Измотанный Арсений разомлел от вина, да и тело Лики его действительно влекло. Вспомнились любимые родинки у нее над пупком и на лобке. Орловского давно давило собственное воздерживающееся тело, теснило молодыми соками: тоска по Лиле все только усугубляла и еще сильнее расшатывала. Да и Сарафанов со своими безотказными подружками и губастыми проститутками постоянно подливал масло в огонь.

— Давай, — сдержанно улыбнулся.

Глаза Лики довольно заблестели.

\* \* \*

Через полгода после рождения сына Лиля вышла из зоны недосягаемости, всплыла на поверхность, как субмарина. Лика устроила Орловскому с ней свидание в кондитерской — назначила подруге встречу, на которую пришли актер и ничего не подозревающая, новоиспеченная, молодая, похорошевшая мать: подчеркнуто опрятная и здоровая, чуть раздавленная хлебной белизной, вызревшая. Когда Арсений увидел ее, почему-то почувствовал на губах тонкое молочное послевкусие. Увидев за столиком Орловского, вздрогнула, попятилась.

— Да погоди ты, не уходи ты, Лиля, что ты... я просто хочу немного поговорить... Я же не прошу ничего... расскажи о ребенке, о себе... только это. Пара слов.

Актер резко встал, стол со скрипом отодвинулся в сторону — Лиля вопросительно смотрела, вполоборота. Насторожилась, как поднявшая голову антилопа, — обернулась на треск сучьев и приготовилась бежать.

В эту особенно мелодраматичную минуту у кого-то из зрителей зазвонил телефон. Орловский с трудом подавил в себе желание повернуться в зал, хотелось покрыть матом бестолкового хама, который портит спектакль своей неспособностью включить беззвучный режим, но актер подавил это желание и продолжал вживаться в роль.

Лиля долго и пристально смотрела — выжидательно, с боязнью заглянула в глаза — нащупала там спокойствие и прошла к столику, где Арсений только что сидел.

— Хочешь что-нибудь? Здесь какао и латте вкусный: я уже три чашки выпил, пока тебя ждал.

Равнодушно приподняла брови и пожала плечами.

— В принципе не откажусь.

— Официант, можно еще два латте... один опять с ликером, а второй просто.

Смазливый парень с зализанными русыми волосами кивнул и пошел к бару. Пахло шарлоткой, вишневым пирогом и кофе.

Арсений с жадностью разглядывал лицо Лили, глаза торопливо перебирали каждую морщинку, коснулись ямочки на подбородке.

— Как бы после четвертой чашки тебе плохо не стало...

— Сегодня меня даже мышьяк с ног не свалит, такая во мне жажда жизни, — улыбнувшись, вскинул руки в стороны. — А вообще я уже полгода хожу, как оглашенный... очень счастлив, что ты родила ребенка... Хотя и не мне... счастлив, что он просто есть, существует...

Поправила русые волосы. Розовые губы дрогнули.

— С одной стороны, мне приятно твое отношение к наш... к моему ребенку, а с другой — я обеспокоена... Зачем ты здесь? Еще и Лику умудрился подговорить, чтобы она меня сюда заманила... Что задумал? У нас семья, и мы счастливы. А если говорить прямо: третий лишний — это же очевидно.

Поджала губы, как захлопнутые двери.

Актер развел руки в стороны:

— Ничего не задумал, просто хотелось больше узнать о ребенке... Несколько слов — что? Разве это много?

*«Мы счастливы...», «разве это много?» Господи, неужели Дивиль действительно считает, что эти диалоги годятся? Меня сейчас просто вИрвит... вИрвит, блядь, со всей этой слащавой ахинеи...*

— Представь себе, носить в голове мысль, что у тебя есть сын и не видеть его, вообще ничего не знать... Хотя фото покажи.

Лиля, почти не моргая, смотрела на Арсения, пытаясь проникнуть в его мысли:

— Это не твой сын... Зачать — еще не значит быть отцом.

Орловский фыркнул:

— Слушай, давай без избитых истин? В любом случае физиология остается физиологией, наследственность — не пустой звук... Покажи фото, я прошу. Иначе ты бы могла зачать от первого встречного и не парилась бы насчет выбора...

— Мы его еще не снимали... слишком маленький. Некоторые в соцсети выкладывают фото новорожденного раньше, чем его отец увидит... дикость! Я всем запретила его фотографировать пока.

— Суеверна? Боишься, что через фото что-то забрать можно?

— А даже если и так? Почему вот иконы нельзя снимать, совершенно справедливо запрещают в монастырях и соборах фотографировать... фото разрушает энергетику, оно что-то меняет... Ярослав для меня — моя икона, мой монастырь, и я не хочу, чтобы его фотографировали. Пока он такой маленький и хрупкий.

Актер опустил взгляд:

— Пожалуй, ты права...

— Он здоровенький, бойкий, глазки умные... Что я могу сказать? Он самое святое, что у меня есть.

Лиля поджала губу. На лбу выступила плотная вена:

— Еще раз благодарю тебя за него, тысячу раз тебе это скажу...

Орловский взвешивал ее слова, держал в ладонях, как печеную картошку, чувствовал телесное тепло каждого слога, наполненного искренним чувством:

— Знаешь, я так изменился после встречи с тобой... Больше не хочу жить так, как жил до этого.

*Ну все, теперь социализм пошел... Николаша! Островский! Физкульт-привет от потомков!*

Лиля с интересом смотрела ему в глаза:

— А как ты жил?

Арсений отмахнулся:

— Инертно... но дело не в этом, а в том, как сейчас буду...

*Слушайте, ну это же обоссаться можно... Не понимаю, как я согласился на эту убогую роль?*

Подошел официант и поставил на стол два бокала с латте. Актер снова глянул на Лилю и широко улыбнулся:

— Вчера вернулся к сценарию, который бросил неоконченным много лет назад. Знакомых актеров — тьма. Все бесплатно согласилось сниматься, есть пара хороших операторов... Честно говоря, не понимаю, кто мне мешал раньше всем этим воспользоваться... а ты знаешь, мне всегда было тесно в актерстве... режиссерские амбиции давно жгут... В любом случае решимость у меня появилась только после того, как понял, что у меня есть ребенок, — видя, что Лилю смущают такие формулировки, Арсений сбавил обороты. — Нет, ты не поняла, я не пытаюсь чего-то добиться, речь идет о самом факте отцовства — пусть, пусть Ярослав далеко и мне нельзя его видеть, но главное в том, что я знаю о его существовании. Главное, что он часть моей жизни, растущая сама по себе часть. Меня эта мысль потрясла... Не знаю, как объяснить — меня как будто больше стало.

Лиля обхватила чашку обеими руками.

— Ты пытаешься новоиспеченной матери объяснить, что такое радость родительства?

Арсений постучал пятерней себя по лбу.

— Действительно, что это я? Тебе лучше меня все это известно... Хотя, мне кажется тут нечто большее, чем просто родительство... а куда вы его хотите отдавать, кстати?

— В смысле, куда отдавать? — Лиля все больше умилялась на счастливое простодушие Орловского, в мужественном лице которого так причудливо проскальзывало наивное мальчишество.

— Ну, я имею в виду, секции спортивные какие-то, я не знаю, художественные школы, курсы.

— Арсений, какие курсы, секции? Ему полгода!

Лиля засмеялась. Орловский почесал затылок и улыбнулся:

— Да, действительно... что-то я... хорошо, а одежда? Вы ему уже купили все необходимое? Если нет, я бы хотел что-нибудь взять ему и через тебя передать.

Глядя на выражение лица актера, Лиля не смогла сдержаться и снова захохотала.

— Нет, мы его в пальмовые листья заматываем и в лопухи... ну ты чего? Все необходимое уже есть, даже сверх того, еще и надарили пять гардеробов, можно не стирать, каждый день новую одежду на него напяливать, а потом выбрасывать, скоро все эти вещи станут ему маленькими, не успеем даже на него все надеть, наверное. В детдом будем отдавать это все потом.

Арсений усмехнулся, закрыл правой рукой глаза, начал тереть переносицу.

— Действительно, что я несу вообще?

Глядя на его взволнованное умиление и восторженность, Лиля двинула было руку над столом, чтобы взять пальцы Орловского, но резко спохватилась и сделала вид, что тянулась за салфеткой. Актер успел уловить этот сдавленный жест, а главное — разгадал его и то, что салфетка не при чем.

— Просто тебе непривычна эта роль, в которой ты себя чувствуешь сейчас: стать отцом и не иметь возможности заботиться о ребенке — это очень тяжело... Понимаю. Ты как мать, которая выносила, родила, и у нее сразу ребенка забрали, так что она даже покормить его не может, а молоко давит, просится к малышу... вот и в тебе такое же молоко, только отцовское...

Арсений достал из кожаного портфеля, лежащего на соседнем стуле, аккуратно упакованные пачки денег и положил на стол. Одна к одной: два тонких столбика, замотанные резинками.

*Блядь, Дивиль, ну эта сцена с деньгами — это звездос как неожиданно все, конечно... благородный жест, перерождение героя, духовное, сука, восхождение... ну это же все так в лоб... срань господня.*

— У меня к тебе просьба, Лиля. Забери эти деньги. Вам они сейчас нужны, чтобы поднимать малыша, столько покупать же нужно, а мне эти деньги неприятны. Я люблю Ярослава, хоть и не видел его еще... брать деньги за любимого человека — нет, я еще не такое безнадежное говно, поэтому... забери.

Лиля удивленно смотрела то на него, то на деньги. Ее очень смутил этот жест.

— Перестань... у нас был уговор.

*Давай, добавь еще фразу: «Ты не можешь так поступить со мной!» И все, и я кончусь сразу, а потом в рожу Дивилью плюну.*

Орловский нахмурился.

— Я думаю, когда Ярослав вырастет, ему будет унижительно узнать, что он зачат за энную сумму денег.

— Он ничего не узнает, — все более растерянно.

— Мы знаем, Лиля, и этого достаточно. О сделке знают четыре человека, по меньшей мере, плюс ваши самые близкие родные, не знаю, сколько их там этих посвященных... Семь, восемь? Нет, это слишком много поверенных — рано или поздно Ярослав узнает правду, а я не хочу, чтобы он думал, будто его зачали ради денег.

— Нет, я не могу взять их...

*Да ты ни хера себе! Взять она не может, горе-то какое! «Нет», «нет», не говори мне «нет»...*

Напряжение диалога сорвало в зрительном зале волну аплодисментов. Актеры сделали паузу, переждали. Затем Арсений придвинулся ближе и склонился над самым столом.



навязываемых ролей. Сейчас в театре, когда все смотрели на него, как на «Stabat mater dolorosa», он пытался стряхнуть с себя эту роль, но из-за взглядов ничего не мог с собой поделаться и минутами держался более подавленно, чем внутренне ощущал и мог бы держаться. Не смог бы объяснить никому из этих сочувствующих, что свалившееся на него горе было необходимо для него как глубокое потрясение, способное преобразить его самого и всю его жизнь, но все эти люди снова и снова смотрели на него так, как будто он был самым обделенным из смертных; Дивиль же наоборот ощущал себя человеком, который обретает в себе что-то очень важное.

Режиссер проснулся. На кухне непривычный звон посуды, стук кастрюль и шум воды. Посмотрел на розовый халат — висит на дверной ручке; ночная рубашка с желтыми цветами и кружевами — на спинке стула. На комодѣ фотография Полины в деревянной рамке — задержал на ней взгляд. Встал с кровати, накинул на голое тело футболку и шорты, вошел в ванную комнату — провел взглядом по бесчисленным женским бутылочкам и коробочкам, умыл лицо, достал из раковины комок волос, смотрел на него почти с умилением. На никелированной сушилке треугольники трусов. Зеркальный шкафчик в ванной, который раньше из-за толстого слоя пыли больше походил на фанерный, вновь стал отражать лица и ломился теперь от тюбиков с баночками.

Вошел на кухню, провел ладонью по спине Нади, которая стояла у плиты. Сел за стол — перед Михаилом уже дымилась медная турка с кофе. Супруги редко разговаривали, только улыбались больше, но оба чувствовали себя, если и не счастливыми — это громкое слово было слишком неуместно — то, по крайней мере, спокойными. В их жизни появилась какая-то прочность, которой так не хватало обоим.

— Я среди приглашенных Костю Шаньгина видел... не думал, что вы до сих пор общаетесь. Помню, как он ухаживал за тобой.

Надя усмехнулась.

— За мной во время учебы кто только не ухаживал...

— Вот-вот, половина ГИТИСа ходуном ходила...

— Ой, да ладно уж, половина... не смеши.

— Зря ты отказалась от карьеры — из тебя бы вышла очень типажная актриса.

— Сам же знаешь, что я перфекционистка: когда увидела Кайдановского с Солоницыным у Тарковского, да и после Стефании Станюты у Климова с Шепитько... тут уж знаешь. Честно призналась себе, что никогда не смогу так... не хочу плодить нормальность. Еще и тебя использовать как подмости для всего этого. Нет уж, благодарствую... А Костя после нашего развода много звонил просто, снова ухаживать начинал. Не знаю, правда, откуда он узнал тогда про то, что мы разошлись.

— Вот сучонок... Дак что, было в конечном счете что-то?

— Было-то было, после развода, но лучше бы не было. Давно это все и неправда. В то время, когда мы разошлись... не знаю, видимо, желанной хотела себя почувствовать после всех этих расхождений с тобой, а он просто первый под руку попался, хотя мужчина он... мягко говоря, не из моего романа ну вот совсем... но вообще человек хороший, порядочный.

— Ты знаешь, когда я слышу в мужской характеристике вот это вот «но вообще он хороший, порядочный» — это прям клеймо... просто не отмыться.

— Да так и есть, потому что... он и как актер ничего не добился, ни к одному режиссеру не попал, потом тамадой работал и какие-то детские праздники организовывал... не знаю, но мне все равно захотелось его позвать на похороны — он очень сильно меня любил, на протяжении многих лет.

— А я тебя всю жизнь.

— Я знаю...

— Иди сюда...



Надя поставила чашку с кофе, вышла из-за стола, приблизилась. Дивиль прижал к себе и начал гладить по голове.

— Надюш, давай ребенка заведем?

Почувствовал, как супруга съежилась. Долго не отвечала. Потом заплакала и еще сильнее прижалась. Почувствовал в ухе ее дыхание. Стало щекотно. Посмотрел в блестящие, испуганные глаза:

— Я не двадцатилетняя девочка... Думаешь, получится? — дрожащим шепотом.

Режиссер пожал плечами:

— Посмотрим, что врач скажет.

Надя не ответила, она была потрясена этим предложением — казалось, уже давно выписала себя из женского племени, смирилась с гибелью дочери и тем фактом, что начала стареть, и тут вдруг Миша говорит о ребенке таким простым, сдержанным тоном, как о чем-то само собой разумеющемся.

Сразу после завтрака поехали в клинику.

Сидя на заднем сиденье машины, грызла ногти и читала в интернете статьи о поздней беременности.

Михаил ждал в машине, возле больницы. Надя села в салон и захлопнула дверь. Долго молчали. Смотрела перед собой, глядя в лобовое стекло, а режиссер — на поджатые губы жены.

— Насколько все плохо?

Отстраненно пожала плечами, не понимая толком, что хотела сказать своим жестом.

— Есть хоть какой-то шанс?

Посмотрела на мужа острым, неожиданно потяжелевшим взглядом.

— Все очень, очень плохо, но я хочу рискнуть, Миша... Нам слишком нужен этот ребенок... Если снова не стану матерью, то... Либо так, либо вообще никак...

Михаил потер лоб, сложил руки на руле и откинулся на подголовник. За окном маленькая девочка в желтой курточке — бежала с зеленым ведерком вокруг песочницы, молодая мать сидела рядом на скамье, с улыбкой любовалась на дочку и разговаривала по телефону.

— Может быть, в детском доме возьмем?

Надя отвернулась.

— И ты туда же... Врачиха тоже проповедовала сейчас, — резко повернулась и, почти касаясь его мокрым от слез лицом, прокричала мужу. — Я носить его в себе хочу! Женщиной хочу себя чувствовать, а не развалюхой! Чтобы рос во мне, двигался и от меня отделился... от моего тела! Можешь ты это понять или нет?!

Дивиль сжал кулак и начал нервно постукивать им по рулю.

— Значит, тебе решать, тебе... Смотри сама, как чувствуешь.

Режиссер смотрел на жилистую ветку дерева без листьев, свесившуюся над лобовым стеклом — тонкую и хрупкую, похожую на кость.

Ночью приснился кошмар. Надя металась под одеялом, потом начала кричать.

— Надюша! Слышишь? Проснись, милая! — глаза жены открылись, Михаил крепко прижал к себе, обнял за плечи. Она перепуганно озиралась — часто дышала. Мокрая от пота простыня. Глаза у Дивилья были не менее испуганными. Он целовал жену торопливо, как болеющего ребенка, — в лоб, макушку, щеки и веки. Сильные руки сжали ее, привели в чувство. — Это сон, девочка! Это просто сон! Не бойся!

— Господи, как мне страшно... Я боюсь, Миша, я боюсь, — она стиснула мужа в объятиях.

Дивиль прижал жену к себе, ощущая ее горячее дыхание.

— Родная, скажи только слово и ничего не будет.

Надя легла и погладила мужа по щеке. Долго смотрела блестящими глазами.

— А я хочу, — шепотом. — Либо я стану матерью, либо... ничего больше. Только это.

Михаил лег рядом. Несколько минут молча лежали в обнимку. Дивиль чувствовал ее увядающее тело с выступившими венами на ногах. Он любил ласкать эту дряблую, мягкую кожу, ему нравился запах ее пота — такой привычный, смешавшийся с его собственным. Потерявшая форму, вытянувшаяся грудь казалась ему прекрасной.

Надя резко встала и прошла на кухню, звякнула графином, после чего свернула в ванную. Некоторое время за дверьми шумела струя воды. Вернулась в комнату, поменяла простыню, бросив влажное от пота белье в корзину. Снова легли в чистую постель: ее лицо было холодным, а с шеи все еще стекали маленькие капли. Надя положила ладонь на его живот, поцеловала в губы, заглянула в глаза как-то странно, с заговорщическим видом:

— Давай сейчас это сделаем?

Михаил, не успевший еще отойти от ночных криков жены, не сразу понял, о чем она говорит.

— Что сделаем? Ты о чем?

По ее молчанию, долгому взгляду он все понял и привстал:

— Ты шутишь? Только что орала, как резаная... боюсь себе представить, что там снилось тебе... и вот так сразу, через пятнадцать минут после всего этого...

Надя улыбнулась. Морщинки у глаз. Режиссер засмеялся во весь голос.

— Мне кажется, ты в горящем доме можешь это делать, если приспишит.

Жена весело сощурилась и заурчала.

— Ага, и на тонущем корабле, и в проруби... Но не надо, не надо клеймить похотью — у самки уважительная причина, самка просто хочет детеныша... А помнишь, как я с тобой девственности лишилась в двадцать лет?

— Я тебя голую на стол кухонный наклонил, а ты достала из вазы яблоко и затолкала себе в рот, чтобы не кричать...

— Не яблоко, а грушу — конференцию — твердую такую... и дело не в крике, просто мне нужно было перенести напряжение на зубы... у меня на кухне еще ни шторм, ни занавесок не было, я все боялась, что в такой позе, да еще и с грушей во рту меня соседи из дома напротив обязательно увидят...

— Ты была прекрасна в ту минуту...

— Ага, как голландский натюрморт...

— А помнишь, как мы сняли номер в дешевой гостинице... ты еще попросила изнасиловать, а потом бросить деньги в постель и уйти?

— Да, конечно, тогда я хотела почувствовать себя шлюхой.

### *Явление III*

Надя устала в ноутбук. На столике недоеденные бутерброды с колбасой, сыром и солеными огурцами. Смотрит «Фанни и Александра» Бергмана, рвет бумажные обертки от съеденных шоколадных батончиков. Михаил вернулся из театра, включил свет в прихожей — крикнул: «Всем мамочкам привет», переварил непроницаемое молчание в ответ, прислушался к потрескиванию шоколадных оберток, затем разулся. Вошел в комнату, бегло оглядел жену.

— Все ясно... судя по твоему лицу, наш хулиган до сих пор не дал о себе знать... хватит переживать. Врач же сказал, что пульс прослеживается идеально. Просто он затаился, вот и все...

— Да я и не переживаю...

— Ну да, я вижу... Даже на пятом месяце такое бывает... нас же предупредили. Надя смяла в кулаке изодранные обертки — нервный полиэтиленовый шумок.

— Да я же сказала, что не переживаю.

Михаил скинул куртку, потом сходил в соседнюю комнату, достал ящик с

инструментами, вытащил оттуда фонарик, протер его влажными салфетками и вернулся к Наде. Задрал ей майку, оголив живот.

— Господи, Миша, что за херню ты выдумал опять?

Дивиль сжал руки жены, которая пыталась сопротивляться, прислонил включенный фонарик к раздувшейся, как вызревший арбуз, пупырчатой коже. Раздраженное лицо Нади вдруг резко изменилось. Она замерла, обхватила ладонями живот.

— Он дрыгнулся... мамочки, он что-то сделал только что во мне...

Дивиль начал двигать включенным фонариком и водить по животу.

— Опять!

Надя захохотала. Режиссер улыбался. Схватил было супругу на руки, но она закричала:

— Пусти, не сходи с ума... нельзя, не поднимай.

— Да, да, прости... не подумал... Позвонить врачу, сказать, что все нормально?

— Не надо, еще сглазим... Вот лучше б женщине своей лимонадику сделал или фреш. Только не холодный. И накрой ты уже мой живот, а то простудишь... и убери ты этот дурацкий фонарик, ради всего святого, хватит в меня светить...

Дивиль улыбнулся, выключил фонарик, опустил майку Нади, накрыл ее пледом и пошел на кухню.

— Сейчас принесу.

Надя чувствовала себя отлично, анализы были хорошими, поэтому ее не стали заранее отправлять на сохранение, но врачи несколько просчитались: на тридцать первой неделе беременности начали отходить воды. Надя схватилась за живот, вскрикнула и чаще задышала. Запаниковавший сначала Дивиль зачем-то схватил супругу на руки, попытался переложить с мокрой простыни на диван, но она закричала:

— Оставь! Скорую позови... быстрее.

В скорой ехали молча, только дежурная акушерка с бородавкой на шее что-то не переставая бормотала, а раскрасневшаяся, вспотевшая Надя без конца ей кивала головой и сжимала пальцы мужа. Михаил смотрел то на эту самую бородавку, то в глаза жены. Мелькали лохмотья проводов, электронные цифры на черном экране — вдруг поймал себя на том, что мысленно начал молиться.

В момент рождения Полины, несмотря на сильнейший страх и волнение, он не позволил себе подобной слабости, и вообще, в каких бы ситуациях Дивиль ни оказывался до этого дня, чего бы ни боялся — ни разу он не обращался к Богу, потому что не верил. Не молился даже тогда, когда еще студентом провалился под лед озера: с оглушительной резью, почти рассыпающимися на мелкие стеклышки глазами он смотрел сквозь мутную твердь в отстранившееся небо, по которому бежали черные овалы мелькающих ступней однопупника; пуская пузыри, Михаил дергал ногами, стесненными одеждой, и истерично толкал скользкую крышку озера, слышал сдавленный крик друга и эхо гулких ударов об лед — после падения он двинулся не в ту сторону, а теперь в панике запутался и не мог найти спасительное отверстие; ошалевший и затравленный, перестал метаться и замер, осознал — смерть близка, почувствовал себя маленьким и хрупким, появилась какая-то назревшая прыщом потребность попросить помощи у того, кто гораздо сильнее тебя, потому что ты сделал все, что мог, и оказался в тупике, но даже в ту секунду Михаил отогнал от себя это оцепенение и вместо молитвы только отчетливее нащупал себя: шоковые оковы полностью рассыпались, Дивиль почувствовал в себе абсолютную ясность и взвешенность сознания, он оттолкнулся ото льда, начал вращать головой по сторонам и почти сразу увидел опущенную в воду ветку, протянутую другом; Михаил рванулся к ней и уже через несколько секунд коснулся отвердевшими пальцами ледяной древесины. Не молился он и потом, когда пришло понимание, что из-за сильного переохлаждения может ослепнуть или стать импотентом.

Ему вспомнилась та секунда подо льдом, потому что сейчас подумалось: их сын в утробе чувствует в данную минуту нечто похожее, он упирается ручками в стенки околоплодного пузыря своей плаценты, беспомощно барахтается и мечется, не в силах выбраться наружу; как и Михаил тогда, окруженный черной ледяной водой, малыш тоже слышит глухой шум и крики извне.

Дивиль знал, что на таком раннем сроке ребенок может не выжить, но страх отступил — он понял, что ничего не сможет изменить своим волнением, поэтому снова, как и тогда под водой, просто оттолкнулся ото льда и смотрел сейчас по сторонам. Режиссер мысленно сказал себе: «Если меня ждет очередная утрата... приму как должное».

И взял Авраам дрова для всежжения, и возложил на Исаака, сына своего...

Михаила впустили в палату. Он поддерживал жену как умел: целовал пальцы и гладил по щеке, твердил что-то, не стеснясь присутствия всех этих белоснежных людей, вошедших в их обнаженный, распластавшийся на кушетке мир.

В Надином случае — при ее слабом сердце и повышенном давлении — было необходимо сократить процесс родов и либо сразу раскрыть лекарственными препаратами шейку матки, либо моментально приступить к кесареву сечению, однако ситуация усложнилась преждевременностью схваток, так как они в свою очередь требовали совершенно противоположных действий. Несколько сбитый с толку акушер-гинеколог сказал, что нужно попытаться удержать недоношенного ребенка внутри: шейка Надиной матки была закрыта, поэтому еще оставался шанс избежать преждевременных родов.

Врач поставил капельницу с магнизией, сдерживающей схватки. Михаила спроводили из палаты. Магнизия не помогала, и схватки продолжались всю ночь. Дивиль слонялся по фиолетовому коридору, шагал по блестящему линолеуму, потом снова возвращался в палату и снова начинал мешать врачам, пока они не перестали его впускать. Утром, когда шейка матки все-таки раскрылась и стало ясно, что придется рисковать, врачи начали подготовку к кесареву сечению.

Помимо акушера с медсестрой, присутствовали терапевт и анестезиолог. Наде побрили лобок и поставили клизму. Анестезиолог попросил женщину приподняться, ввел катетер, потом ее снова положили на кушетку, обработали живот дезинфицирующим средством и установили ширму, чтобы Надя не могла видеть процесс операции.

После разреза началось кровотечение: оно оказалось слишком сильным, кровь не сворачивалась. Врачи использовали заранее подготовленную свежемороженную плазму, но остановить кровотечение так и не удалось. Надя погибла.

Ребенка удалось спасти: когда врач вытащил пугающе крохотное тельце, малыш даже не заплакал — только тихонько пискнул и замолк. На следующий день провалившийся в тишину Дивиль стоял в отделении детской реанимации и смотрел на своего сына через прозрачные стенки кювета, похожего на сосуд из кунсткамеры.

К тщедушному младенцу, весом один килограмм четыреста двадцать граммов, были подведены провода и датчики. Михаил назвал его Родионом, но никому об этом не сказал — это была его маленькая тайна. Впрочем, ему больше некому было говорить об этом.

Дивиль купил точно такой же вишневый гроб, какой был у Полины, и организовал все необходимое для похорон жены. Атмосфера кладбища, ставшая уже привычной, воспринималась механически — одними безучастными глазами. Казалось, еще совсем недавно он смотрел на уползающую крышку гроба, похитившую Полину из его жизни, и вот теперь тот же вишневый цвет лакированной доски снова избивали горсти черной земли, будто тот же самый ящик, проглотивший дочь, вернулся теперь за женой.

Скоро вернется и за мной.

Родион умер через неделю, врачи так и не сумели его выходить — все только говорили какие-то умные слова и разводили руками, а Михаил лишь кивал. Он никого не винил.

### Явление IV

Лиля вернулась домой с чувством вины: во время очередной встречи, когда показывала Арсу новые фотографии Ярослава, позволила ему поцеловать свою руку, но самое главное — впустила в себя, откликнулась на его взгляды и прикосновения смущением обнаженной взволнованности. Сейчас, после этого поцелуя и пристального взгляда Орловского, который она со своей стороны приняла, Лиля поняла, что изменила мужу в большей степени, чем в тот день, когда отдалась Арсению на гостиничной койке, но больше всего ее поразило то, что она не поправила актера, когда он произнес слова: «жизнь нашего ребенка»

*Нашего!*

Лиля холодно простилась с Арсением, почти обратилась в бегство. Решила про себя больше не идти с ним ни на какие контакты. Сбросила сапоги, почти по-библейски отряхнула ноги и вошла в детскую. Ее мама присматривала за малышом, дремала в кресле рядом с кроваткой, а Ярослав лежал на животе и сопел, высунув ноги из-под одеяла. Лиля с трудом пересилила себя, чтобы не взять ребенка на руки, настолько сильно ей было нужно сейчас это прикосновение — животворящее, святое, дающее жизни ценность и прочность, но не позволила себе будить малыша, поэтому только облокотилась на деревянные поручни кровати и посмотрела на своего маленького румяного человечка с засохшей слюной на щеке. Мальчик затолкал пальцы в блестящий розовый ротик и подрагивал пятками, обтянутыми синими колготками. Глядя на лицо малыша, ужаснулась: *Господи, как же он похож на Арсения! Его лицо, разрез глаз, нос.* Схватила за голову и отошла от кровати.

Через час с работы вернулся Сергей. Лиля накрыла ему на стол: спагетти с сыром и оливками. Достала из шкафа бутылку сухого хереса, оставшегося после посиделок на «кашу», и налила мужу бокал. До его прихода глодало чувство вины. Сергей снял верхнюю одежду, помыл руки и сразу отправился на кухню, даже не заглянув в детскую: Лиля перестала испытывать совестливое чувство — его заменило скрытое раздражение.

Ужинал с аппетитом, молча. Лиля надеялась: не спросит, как прошел ее день — врать любимому человеку не хотела, и никакая обида не стала бы оправданием, но муж только часто жевал и громко дышал носом. Села напротив и, не отдавая себе в этом отчета, начала фиксировать, насколько черты Сережи отличаются от черт малыша. С усмешкой вспомнила сейчас, как дальние родственники и друзья выкрикивали в один голос шаблонные фразы: «папин нос, мамыны глаза».

Ночью долго не могла уснуть: перед глазами лицо Ярослава, всплывающее из черт Орловского — два лица, будто вложенные одна в другую маски, вдавливались своими формами, сливались в единое целое.

Ничто в жизни не казалось Сергею по-настоящему ценным: бизнес — пустяк, лишь способ получить доход, никакого удовлетворения в полном смысле слова он не давал. Подарить ребенка любимой женщине — единственное, чего он желал: с тоской, обреченно, вымученно. Невозможность этого переламывала успешного бизнесмена и уверенного в себе мужчину, комкала в газетный обрывок. Утешением оставались близость с Лилей и возможность заботиться о ней и ее ребенке — кирпичом это притяжательное местоимение без конца встряхивалось в голове, звякало брошенной монетой — подаванием: ее и его — того самого его (чужого, вторгшегося, обескровившего и унижившего).

Сергей знал, сейчас Ярослав — центр ее мира, но все-таки не мог полюбить малыша, вошедшего в их жизнь, — ребенок был прекрасен, но тем тяжелее смотреть на него (присутствие Ярослава откровенно угнетало). Глядя на красивого, бойкого мальчишку с умными глазами, Сергей чувствовал себя ущербным — ребенок напоминал своим присутствием о его неполноценности и бесплодности. Если бы Сергей смог

подарить Лиле хотя бы одного малыша, а Ярослава они бы взяли в детском доме, он боготворил бы мальчишку не меньше родного, но действительность рвала его на части, мальчик маленьким бесштаным палачом терзал его душу, елозя своими проворными коленками по теплomu паркету: каждый раз, когда Сергей смотрел на малыша, он видел близость жены с другим мужчиной, а потому — минутами просто ненавидел ни в чем не повинное дитя; ненавидел его за тот час, который он провел в машине, когда ожидал Лилю рядом с гостиницей, выкуривая сигарету за сигаретой, за то ощущение личной немоцности, за испорченные отношения с женой — до появления Ярослава пара не знала ссор, все раздоры начались именно с момента его рождения.

Лиля перебирала старые книги, стирала пыль и заклеивала скотчем разодравшиеся корешки. Ярослав сидел на полу и строил башню из цветных кубиков. Русые кудряшки сваливались на уши густыми перышками. Лиля время от времени поглядывала на сосредоточенное лицо малыша и не могла удержаться от смеха — монархическая серьезность сдвинутых бровей была просто уморительна.

Она начала выставлять заклеенные и протертые книги обратно на полки, но услышав кряхтение, повернулась к ребенку — шатающийся малыш шагал к ней, вытянув перед собой зеленый кубик.

Счастливая Лиля опустилась на колени и засмеялась:

— Пошел, золотой мой... пошел, солнечный... Иди-иди же сюда, морковка.

Протянула руки навстречу ребенку. Маленький человечек с деловым видом перебирал ножками и смешно топал, но через несколько шагов не удержался и плюхнулся. Скривил было личико, чтобы заплакать, но, услышав смех матери и глядя на ее счастливое лицо, заразился ее эмоциями и улыбнулся.

Лиля взяла ребенка на руки и начала целовать.

— Хороший мой, зайчик... пошел, мужчинка.

Начала кружить малыша на вытянутых руках. Ребенок хохотал и брыкался, потом она снова прижала Ярослава к себе и понюхала его живот.

— Вкусный мой...

Лиля взяла телефон и написала:

«Ярослав встал на ножки и сделал свои первые шаги!!!»

Вошла в телефонную книгу и выбрала адресат:

«ОрАсе. Салон» — так Лиля замаскировала номер Орловского.

Когда сообщение отправилось, набрала мужа.

— Серёжа, Ярослав пошел! Ты слышишь? Пошел!

Засмеялась, зажав трубку между ухом и плечом. Ребенок теребил футболку, опуская ворот. Пытался достать грудь.

— Только что, да. С кубиком ко мне потопал, пока я книги перебирала...

Подошла к окну и отодвинула штору пальцами. Дождь стекал по стеклу. Улыбка на лице дрогнула — в ответе мужа что-то очень смутило. Телефон завибрировал. Посмотрев на экран, увидела ответное сообщение Арсения.

«Я очень счастлив! Жаль, что не видел своими глазами! Встретимся завтра?»

Голос мужа из трубки:

— Милая, ты слышишь?

Снова прижала телефон к уху.

— Да, да, что? Да здесь я, просто отвлеклась. Хорошо, купи. Все, Серёж, давай, до вечера, мне некогда.

Только два слова сказал, потом сразу о делах начал и магазинах... Лиля написала:

«Хорошо, завтра вечером около трех. Там же. Если что-то изменится, я позвоню».

«ОрАсе. Салон». «Отправить».

Арсений снова пил свой любимый крепко заваренный пуэр, черный, как кофе. Осушил шестую чашку: чувствовал — начинает пьянеть. Немного закружилась голова. Гадал сейчас, во что она будет одета, как посмотрит, улыбнется или нет? В кожаном рюкзаке лежали небольшой руль с кнопками и несколько музыкальных книжек с картинками. Весь вчерашний день Арсений посвятил съемкам. В Подмоскovie нашел интересную натуру, взял напрокат Blackmagic 4K и снял вместе со знакомыми актерами несколько удачных отрывков. Еще несколько недель того же ритма, и первая короткометражка будет готова.

Лиля беззвучно подошла к кабинке и заглянула, отодвинув штору. Орловский даже вздрогнул от неожиданности и привстал.

— Лиличка, здравствуй! Спасибо, что порадовала... чаю хочешь?

Девушка улыбнулась:

— Не откажусь.

Села напротив, сняла ветровку и бросила рядом с собой. Около минуты молча смотрели друг другу в глаза, пока Арсений не наклонился ближе:

— Давай в гляделки. Кто первый моргнет, тот шельма.

Лиля засмеялась.

— Давай.

Арсений придвинулся еще ближе и скорчил такую свиную рожу, что девушка сразу захохотала и несколько раз моргнула. Орловский начал тыкать в нее пальцем:

— А-а-а! Шельма! Шельма! Попалась...

Огромный, широкоплечий Арсений — вылитый солдат с Мамаева кургана — вел себя сейчас, как ребенок, и это ему очень шло. Лиля искренне любовалась им.

— Ну, как там наш легкоатлет?

Девушка ласково усмехнулась:

— Сегодня с утра опять ходил по кухне. Встал с горшка и пошел, бесштанник. Смотри.

Лиля достала из сумки телефон и показала фотографию.

— А-а-а... — Арсений весь преобразился, разбрызгивая счастье восторженными глазами.

Взял телефон в руки и начал рассматривать сына, потом вдруг стал очень серьезным:

— Позволь один раз увидеть его вживую...

«Позволь» — «Не позволю»... «Нет, ну ты позволь» — «Нет, позвольте вам этого не позволить».

Когда шла на эту встречу, ждала именно этого вопроса. Оказавшись напротив, сразу поняла, что не сможет отказать — не только потому, что видела: Ярослав — главная ценность и радость Арсения, но и потому, что глаза Орловского, брови, нос, лоб и губы были лицом ее сына. Сейчас на нее смотрел взрослый Ярослав, и это ощущение кружило голову:

— Да... завтра, например, когда буду гулять с ним по парку, ты можешь «случайно» там оказаться... Только надень что-нибудь с капюшоном, а то мало ли, вдруг Серёжа увидит.

Орловский часто закивал, потом спохватился и достал из рюкзака приготовленные подарки.

— Вот, скажешь мужу, что сама купила... Я выбрал для него, и мне важно, чтобы он своими ручками прикоснулся, понимаешь?

Лиля кивнула и приняла подарки, хотя в детской и без того было слишком много игрушек.

На следующий день Арсений увидел сына. Пришел в парк за несколько часов до встречи и сидел на скамейке. В нетерпении глядел по сторонам. Когда в поле зрения

появилась Лиля с коляской, подскочил, но потом, вспомнив обещание держаться непринужденно и не подходить близко, с напускным безразличием отвернулся, хотя каждой клеткой своего тела и каждой мыслью устремился сейчас к сиреновой курточке и красной шапке-ушанке у себя за спиной.

Продержался минуту, не в силах больше терпеть, снова повернулся: Лилия шла по тропинке, не к актеру, она кружила рядом на расстоянии сотни метров, поддерживая мальчика за руку. Она не смотрела в сторону Орловского, но Арсений чувствовал, что Лилия думает сейчас только о нем и его присутствии, а еще боится, что рядом окажется муж.

Актер подошел ближе: когда их разделяло около десяти метров, Лилия нахмурилась и отрицательно покачала головой. Арсений остановился, не отрывая глаз от белого личика Ярослава, ковырявшего веткой какую-то кочку.

Единственное, чего сейчас хотелось Орловскому, чтобы сын поднял глаза и посмотрел на него, чтобы узнал его, показал в его сторону пальчиком, но мальчик уткнулся носом в свою кочку и внимательно исследовал ее, а поймав на себе взгляд чужого мужчины, равнодушно скользнул по нему и прижался к матери. Через несколько минут Лилия взяла мальчика на руки и пошла в противоположную сторону, толкая пустую коляску перед собой.

Арсений следил за двумя отдаляющимися спинами и плакал.

Лилия вернулась домой, Сергей сидел на кухне и ел пельмени. По выражению его лица сразу поняла — что-то не так.

— Что это за мужик на вас пялился в парке?

Все упало внутри, но она сделала каменное лицо — может быть, даже слишком равнодушное, так что сама почувствовала, что несколько переиграла.

— Какой мужик? Господи, я-то откуда знаю, мало ли, кто на меня может пялиться.

— Не включай дурочку — это был он?

Лилия посмотрела на него вопросительно:

— Кто он?

Сергей резко встал, схватил тарелку с пельменями и расшиб ее об стену. Пельмени вперемешку с белыми осколками разлетелись по кухне.

— Не ври! Я все знаю!

Ребенок зарыдал и прижался к маме. Лилия в ужасе смотрела на мужа:

— Ненормальный! Замолчи, ты напугал его.

Красное, кипящее лицо и сжатые кулаки:

— Отвечай!!! Как часто ты с ним видишься? Ты трахаешься с ним?!

Лилия рванулась к коридору.

— Ты не в себе... — дрожащим голосом.

Не снимая с ребенка верхней одежды, ушла с ним в комнату и закрылась. Вздвигаясь, муж начал дергать дверную ручку.

— Открой!!! Я сказал, открой!

Начал пинать дверь.

— Я выломаю ее!!!

На четвертый удар сталь замка проломила косяк, вырвав кусок панели, и дверь с хрустом распахнулась. Щепки брызгами разлетелись в сторону. Ярослав кричал до хрипоты, вцепился в мать. По пунцовому лицу стекали слезы.

Сергей вломился в комнату, но наткнулся на такой ненавидящий взгляд жены, что даже отпрянул назад, а потом замер.

Лилия не проговорила, больше просипела:

— Убирай-с-я-я! — ледяным, звенящим, как острие тесака, шепотом, — убирай-с-я-я!



Сергей резко развернулся, накинул куртку и выбежал в подъезд. Вошел в лифт, уткнулся головой в стену и сжал зубы.

Успокоив ребенка, Лиля написала Арсению:

«Будь аккуратнее, Сергей все узнал, может, попытается найти тебя. Хотя Лика ничего не скажет, но все равно... На всякий случай»

Через минуту телефон зазвонил — это был Орловский.

— Да, привет.

Некоторое время молча слушала, все больше округляя от удивления глаза.

— Ты с ума сошел... Нет, Арсений, я не могу так... Он мой муж, и я люблю его... — голос задрожал. — Так нельзя, прости, нет, это невозможно.

Нажала на экране красную кнопку и укусила себя за губу.

Арсений сделал ей предложение. Пусть по телефону, пусть глупо, но она понимала, что это предложение вырвалось бесконтрольно, без оглядки на уместность обстоятельств, а просто потому что назрело до невыносимо мучительной тесноты.

Она посмотрела на ребенка и вдруг совершенно отчетливо поняла: с Сергеем ее связывает только прошлое, в настоящем не осталось абсолютно ничего — муж стал ей чужим. Сказала сейчас: «люблю его» — заглянула в себя, и стало слишком очевидным: все это только зазубренная годами фраза, которая слетела с языка по механической привычке — той же самой привычке, с какой сонная рука тянется ранним утром в сторону опостылевшего будильника, которого со вчерашнего дня там почему-то уже нет.

Потерла переносицу и закрыла глаза.

Через неделю они с Арсением снова увиделись. Лилия отвезла ребенка к маме, не желая оставлять его с мужем, и весь вечер гуляла с Орловским по центру города, совершенно наплевав на то, что их может увидеть кто-то из знакомых. Потом зашли в бар и выпили бутылку вина. Арсений прижал ее к себе и попытался поцеловать — Лилия не сопротивлялась. Коснулась его губ, а потом сама обхватила Арсения руками. Странные, смешанные чувства стыда и радости, измены и какого-то естественного, живого порыва, подавить который казалось неправильно, — окончательно сбивали с толку. Она открыла глаза, начала рассматривать лицо Арсения, снова увидела Ярослава, и у нее возникло ощущение инцеста — из глубины поднималось смутное возбуждение, но при этом она продолжала смотреть на лицо Орловского, как мать.

Николай Сарафанов в свойственной ему манере долго издевался над Орловским, высмеивая оригинальность их с Лилей знакомства, которое окрестил «безымянным спариванием с перспективой на будущее». К удивлению Арсения, Николай начал отговаривать его от переезда, используя совершенно нехарактерные для себя аргументы, напирая на то, что Орловский разрушает чужую семью и на совсем уже невообразимое в его устах: «на чужом несчастье не построишь...» Через несколько дней Сарафанов в очередной раз притащился с какой-то восемнадцатилетней нимфоманкой. Теперь Арсений отказался с гораздо с большим трудом. И ботинок в дверной проем не бросал, а как-то робко, почти нежно прикрыл дверь, вежливо пожелав спокойной ночи, подрочил и лег спать... Сарафанов все никак не хотел отпускать Орловского. Арсений смотрел в лицо пьяного друга, понимая, что борется не с ним — он борется с самим собой.

Через два месяца развод с Сергеем был оформлен. Лилия с Арсением зарегистрировали брак. Свадьбу играть не стали — не хотелось обоим — просто пришли в ЗАГС и расписались: Арсений в джинсах, а Лилия в легком однотонном платье с большим красным маком на талии. Из гостей — только недовольный Сарафанов и несколько смущенная Лика (глядя на них, можно было подумать, что они оба против этого брака). Мама Арсения умерла от рака три года назад, отца Орловский никогда

не видел, только на фотографиях. Родители Лили приехать отказались — они любили Сергея и даже не захотели знакомиться с новым мужчиной дочери, считая, что та просто бесится с жиру. Не смягчил их даже тот факт, что Арсений был кровным отцом внука. Особенно раздражало родителей, что молодые не хотят организовать все «почеловечески». Соскучившись по внуку и несколько остыв, через пару дней после свадьбы мать все-таки приехала в новое жилье дочери, чтобы посмотреть на нового зятя. Когда она вошла в прихожую и увидела протягивающего ей руку Арсения, то даже растерялась — ее поразило, насколько сильно Ярослав на него похож.

Единственное, что раздражало Лилю в этом сложившемся и прочно сбитом счастье — частые ночные сообщения в Телеграм, которые приходили на мобильник мужа. Один раз посмотрела на отправителя: «Селена Кирсанова», открыла фотографию и увидела красивую женщину. Может быть, даже слишком красивую. В ту минуту Лили впервые поняла: рано или поздно Арсений уйдет от нее к этой женщине. По крайней мере, Лили начала об этом думать, все больше нагнетая свое ожидание, и несколько даже растравливая себя, упиваясь этой болью. В минуты депрессий на почве ревности часто спрашивала себя: как отомстит своему мужу, если он действительно так поступит? Лили не могла ответить себе. Она только ощущала, что в ней поднимается едкая, как кислота, ревность, леденящая ненависть к своей сопернице, слепая злоба и желание разрушать — это состояние расшатывало, выжигало грудь напалмовой гущей.

Через месяц Арсений и Лили решили поехать на Камчатку, чтобы отдохнуть. Попросили Лику присмотреть за сыном.

Через месяц Николай Сарафанов и Селена Кирсанова решили поехать на Камчатку, чтобы отдохнуть. Арсений попросил прощения у бывшей жены за то, что оставляет ее с ребенком. Попросил Лилю присмотреть за сыном, обещал помогать деньгами.

## Эпилог

После очередной репетиции Михаил все сидел за столом своей в очередной раз опустевшей квартиры и делал новые правки в давно уже законченной пьесе о Сизифе — даже не о Сизифе, а о том, как эта пьеса писалась — делал правки в пьесе о себе самом, о Михаиле Дивиле и своей жизни; но главное было другое: режиссер уже давно перестал различать границы между художественной реальностью, которую создавал сам на страницах своего текста и во время постановки, и той окружающей внешней реальностью Ада, в которой он жил и которая, в свою очередь, сама создавала его. Дивиль не знал, в какой реальности находятся он и все окружающие его люди, взятые для этого текста, то есть попросту не понимал: автор он или только герой? Не сомневался он лишь в одном: его героини Лилиа и Лика — в действительности не два человека — это две части одного целого, одной женщины, Медеи, из ревности к изменяющему мужу убившей собственного сына; а Орловский с Сарафановым — не два друга, но две стороны амбивалентной личности, одного мужчины во всех его животных и духовных проявлениях.

Михаил положил ручку на стол и посмотрел в окно, на безграничную даль этого необъятного города. На минуту почувствовал себя Ионой в чреве кита — ничтожной крупинкой, которая, впрочем, имеет свой замысел и вес, а потому положена здесь — на надлежащем ей месте. Дивиль выстрадал право связать свою жизнь с искусством и обрел в этом счастье.

*Это я, Господи!* — сказал Дивиль вслух.

— *Москва, Господи!* — откликнулось ему, будто эхо, — *Адо́най!*